

18+

EL PRIMERO

Артур Ханоян

Артур Ханоян

El Primero

«Издательские решения»

Ханоян А.

El Primero / А. Ханоян — «Издательские решения»,

«Говорят, я держал на мушке человека, чьё лицо висело в каждой конторе...» Но правду знает лишь он. Бывший офицер, чьи корни вросли в суровую землю Амасии. Оказавшись на другом краю света, в эпицентре чужого заговора, он играет по своим правилам. Когда ставки взлетают до небес, главной становится не победа, а верность чести и женщине, ждущей его в ночи. Пронзительный роман о невидимых войнах и клятвах, которые даются не командирам, а перед Богом.

© Ханоян А.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Знакомство	6
1-АЯ ЧАСТЬ	6
Глава 2. Ленинград. Друг	9
Глава 3. Последний экзамен	16
Глава 4. Учебка. Стена	20
Глава 5. Пыль и кость	23
Глава 6. Вкус тепла	26
Глава 7. Перед бурей	29
Глава 8. Афганистан. Порог	32
Глава 9. Патруль	35
Глава 10. Грех и милость	38
Глава 11. Семь дней	42
Глава 12. Тень	47
Глава 13. Не тот	50
Глава 14. Секунда	53
Глава 15. Начальник разведки	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

El Primero

Артур Ханоян

© Артур Ханоян, 2026

ISBN 978-5-0071-3971-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Посвящается Самвелу Маргаряну (Пиху) —
однокласснику моей матери и верному другу отца.
Тем, кто ушёл, но чьи имена мы продолжаем
произносить вслух.*

Глава 1. Знакомство

1-АЯ ЧАСТЬ

Меня зовут Арман Хачатурян.

Я родился в Амасии — селе на краю Ширака, где земля обрывается рекой, а за рекой начинается то, о чём у нас не говорили вслух. Взрослые смотрели туда редко и вскользь, будто в чужое окно. Мальчишками мы бегали к обрыву и тарасились в ту сторону, пока от колючего ветра не начинало резать глаза.

Зимой снег вставал вровень с окнами, и отец соседа выходил с лопатой, чтобы прорыть траншею от двери к сараю. Дым стелился низко, тяжело пах кизяком. В доме стоял густой дух тонира, овечьей шерсти и ладана — эти три запаха въедались в стены до самой весны. Если я застревал на пороге, мать бросала, не оборачиваясь: «Дверь. Тепло уходит».

Над столом висела чёрная тарелка репродуктора. Она говорила сама — её никто не включал и не выключал: вещала про пятилетку, про надои, про то, как народы просыпаются и сбрасывают цепи. Мы под неё ели. Бабушка иногда поднимала на неё глаза и молчала — так смотрят на человека, который нагло врёт, а перебивать невежливо.

Весной снег сходил рывками, обнажая чёрную, жирную землю, и в первый тёплый день мать открывала дверь настежь. Она просто стояла на пороге, медленно вытирая руки о фартук — ни для чего, просто дышала.

Вода в нашем роднике была такой ледяной, что ломило челюсть, и такой вкусной, что в Ленинграде я года три не мог заставить себя пить из-под крана.

Соседка, тётя Србуи, заходя к нам за солью, смотрела на меня снизу вверх и каждый раз повторяла одно и то же: «Этот в деда пошёл. Плечи дедовы».

Мать кивала. Меня всегда считали старше моих лет — и спрашивали с меня тоже как со старшего. Бабушка же говорила коротко: «Шею не гни. И не задирай. Смотри человеку в глаза, этого хватит».

Прозвище приклеилось ко мне раньше, чем я научился считать.

Когда во дворе делили очередь в играх, надо было крикнуть первым — кто выкрикнул, тот и начинает. Мальчишки орали все разом, толкались, сбивали друг друга с ног, но я успевал раньше. Всегда. Рот открывался быстрее, чем я успевал подумать, и слово вылетало, как камень из рогатки.

— Пиру!

— Сдаю! — отзывался кто-нибудь второй, и дальше шло по счёту. Никому из нас не нужны были для этого взрослые.

Только звук «р» мне тогда не давался — язык не слушался, — и вместо звонкого «пиру» из горла выскакивало смешное, куцее: «*Пиху!*»

Двор поржал, подхватил — и не заметил я, как перестал быть Арманом. Стал Пиху. Имя мне дал отец, а прозвище — мой собственный непослушный язык, и держалось оно потом крепче имени.

Первым к мячу. Первым в драку. Первым за стол — за что немедленно получал деревянной ложкой по лбу: «Куда лезешь поперёд старших?»

Много лет спустя, в другой стране, где меня звали иначе и где никто не знал слова «Амасия», я понял простую вещь: первым быть — это тяжелое бремя, которое понимают и несут в себе эту ношу немногие.

Отец ушёл рано. Погиб или исчез — я не знаю до сих пор. Когда я спрашивал, мать не отвечала: бралась за какую-нибудь работу — перебирать фасоль, подкладывать в печь, — и

глаза её темнели, как вода перед грозой. Я спросил трижды. На четвёртый раз мне было девять, и я уже уяснил, что об этом не спрашивают.

Я на отца сердился по-детски и всерьёз. За то, что за меня некому было выйти, когда взрослый мужик во дворе замахнулся на меня за разбитое стекло, а мать прибежала и заслонила собой, и мне было стыдно за неё и за себя. За то, что у всех мальчишек был мужчина, на которого хотелось быть похожим, а у меня такого мужчины не было. За то, что он ни разу не видел, как я бегаю быстрее всех во дворе, и никогда не скажет обо мне того, что отцы говорят о сыновьях.

А больше всего — за то, что его не стало тихо. Ни могилы, ни похорон, ни причины, за которую можно было бы держаться. Просто однажды не стало — и после этого в доме нельзя было произносить его имя.

У двери, на гвозде, висел его пиджак. Тёмный, с расправленными плечами. Плечи держали форму так, будто он снял его минуту назад. Раз в год мать выносила пиджак на солнце, выбивала пыль и вешала обратно на тот же гвоздь. Не на другой. Проходя мимо, я иногда трогал рукав — просто чтобы знать, какой он на ощупь. Ткань была холодная. Она ничем не пахла.

Про деда в нашем доме говорили. Про отца — нет.

По ночам мать молилась шёпотом. Крест у нас был старый, серебро стёрлось почти в ноль, и она держала его за иконами, завёрнутым в тряпицу. Не прятала — берегла. Разница огромная, хотя со стороны и не видно.

Бабушка была другой. Твёрдая, как базальт с нашего поля: сколько ни бей — сколется край, а суть останется. Она учила меня молитвам, как учат уставу: слово в слово, без спешки, каждый вечер, пока не сядет намертво. Если я торопился — начинали сначала. Если торопился второй раз — она молча клала свою сухую, тяжелую ладонь мне на затылок и держала, пока я не переставал дёргаться.

Однажды на Пасху, когда в доме было шумно и на столе стояло всё сразу, я спросил её: зачем молиться, когда и так хорошо? Она вытерла руки и ответила: «Молитва в радости делает сердце несокрушимым в беде».

Мне было десять. Я запомнил слова, но не понял их. Понял спустя много лет, в чужой стране, лёжа лицом в песок.

Про меня рассказывают разное, и почти всё — неправда, даже когда правда.

Говорят, я держал на мушке человека, чьё лицо висело в каждой конторе. Говорят, мне жали руку генералы — те, перед кем строились армии. Говорят, будто тот человек просил у меня пощады.

Он не просил.

Он бросил что-то по-испански — отрывисто, с хриплым напором, — и я не разобрал ничего. Не разбираю до сих пор. Может, звал кого-то. Может, проклинал. Я не знал испанского настолько, чтобы перевести, но знал людей достаточно, чтобы понимать без языка.

Слова прошли мимо. А лицо осталось в памяти.

Точнее, его глаза. В них бился такой осязаемый, животный ужас, смешанный с чёрным отчаянием загнанного зверя, что от этого зрелища леденела кровь.

У страха нет своего языка, потому что его понимают все.

Я не стал от этого сильнее. И не стал героем. Я просто однажды встал там, где другие переступали с ноги на ногу. И, по-моему, это не смелость. Просто знал: если не встану я, встанет кто-то, кому это дастся легче. А такому человеку нельзя позволять вставать.

Меня учили убивать. Я убивал. Но ни разу — из ненависти. Кто скажет, что это разные вещи, тот прав. Кто скажет, что это меня оправдывает, тот меня не знает.

Сейчас я сижу в чулане за переборкой военного корабля.

Здесь темно, тесно, и всё время что-то гудит: то ли турбины, то ли толща воды за бортом. Железо холодное, покрытое соляной испариной — проведёшь ладонью, потом долго слышишь

этот вкус во рту. Раз в сутки мне приносят воду, хлеб и какую-то похлебку. Хлеб дрянной, белый, ватный.

Я сижу в темноте и считаю. Не дни — со счёта дней я сбился на пятый. Считаю, с чего всё началось.

С того ли дня, когда я поднял глаза к небу над Амасией и сказал: «Господи, я Твой»? Или с того, когда мне дали в руки оружие и приказали: «Стреляй»?

Бабушка говорила: если твой корабль сколочен на совесть, тебе всё равно, насколько глубок океан.

Океан подо мной сейчас такой, что человек в нём — величина ничтожная. Я слушаю, как гудит железо, кладу руку на грудь, где под рубахой на цепочке висит её крест, и проверяю свой корабль.

Доска за доской.

Глава 2. Ленинград. Друг

Поезд Москва — Ленинград выныривал из утреннего тумана медленно, тяжело, будто сам сомневался, дотянет ли. Шли третьи сутки дороги, если считать от Лениначана. За мутным, запотевшим стеклом однообразно тянулась чужая земля: мокрые пашни, редкие перекошенные избы и берёзы — тонкие, белесые, словно наспех набросанные карандашом на полях школьной тетради. Стакан в мельхиоровом подстаканнике нещадно жёг пальцы. Чай отдавал веником, жжёным сахаром и титановым железом.

Я ехал один, но одиночества во мне не было. В кармане лежали письмо и адрес, а в подкладку нового, сшитого к отъезду пиджака мать зашила сорок два рубля. Она зашивала при мне — ровными, негнущимися стежками, чтобы я точно помнил место. Всю дорогу я машинально прижимал этот плотный шов локтем к ребрам.

Напротив, на нижней полке, сидел парень с потрепанным кожаным портфелем на коленях. Щёлкал подсолнечные семечки, листал замусоленный журнал, то и дело бросал косые взгляды в окно — словно проверял, не раздумал ли Ленинград его принимать. Во взгляде не было наглости. Была пружина. Скорость.

— Долго ещё ползти будем, а? — бросил он в пространство, не поднимая головы. — Тошно от этих перелесков. Тебя как звать?

— Арман.

— Саша. Значит, сочтемся.

Он протянул ладонь и просто высыпал мне горсть семечек — не спрашивая, надо ли, будто мы делили их на двоих уже не первый год. Шелуха была тёплой от его ладони и кармана.

Мы проговорили до самого Московского вокзала. О книгах, о девчонках, о том, как войти в этот гранитный город на своих двоих и стать здесь своим, а не приезжим нулём. Саша оказался коренным ленинградцем, сыном заводского инженера и школьной учительницы. Отец его был из той породы людей, перед которыми соседи снимают шапку, но которых никогда не показывают в кинохронике.

— А твой старик чем занят? — спросил он между делом.

— Нет у меня отца, — ответил я. — Один еду. Срезать экзамены или поступать. И угла в городе нет.

Он не стал растягивать губы в сочувствии, не ахнул, не спросил «как же так». Только с хрустом расколол очередное зерно, глянул в серое ленинградское небо за окном и отрезал:

— Разберёмся. Это мы поправим.

И я поверил ему сразу. Без оглядки.

Дом оказался сталинским — с гулками парадными, высоченными потолками и основательными стенами. На лестнице стоял плотный дух щей и паркетной мастики, в квартире пахло старой бумагой, сухим чаем и той размеренной тишиной, которая заводится лишь там, где поколениями никто ни от кого не спасался бегством. На кухне бубнила всё та же радиоточка

— про семилетку, рекорды чугуна и народы, сбрасывающие колониальные цепи. Те же слова, что висели у нас над столом в Амасии. Но здесь на них даже не оглядывались.

Мать Саши, худая женщина с тихим голосом музейного работника, встретила меня сдержанно, но без барской спеси. Молча налила крепкого чаю, придвинула вазочку с сушками и ушла в комнату — дала чужому мальчишке оглядеться и отдышаться.

Василий Дмитриевич оглядел меня тяжело и основательно, как плотник оглядывает дубовую плаху перед тем, как врубить топор: треснет или выдержит? Потом стукнул ладонью по клеёнке:

— Пропишем. На время.

— Зачем вам это? — не удержался я.

— Затем, что без печати в паспорте ты здесь пыль под сапогами, — он пододвинул мне сахарницу. — Ни общаги, ни работы, ни допуска. Хоть с золотой медалью приди.

Ночью я лежал на продавленном диване в проходной, слушал, как в чугунных трубах ворчит вода, и думал совсем не о билетах по математике.

В день отъезда бабушка шла за мной до самого пыльного автобуса на окраине села. Шла молча, опираясь на посох, потом остановилась, цепко взяла меня пальцами за рукав — не за ладонь, а именно за грубое сукно рукава — и сказала в самое лицо:

— Ни от кого на этом свете сильно не завись, Арман. От кого зависишь больше меры — тот тебя однажды и отдаст чужим. Причём за бесценок.

Тогда я только торопливо кивнул, лишь бы она разжала сухие пальцы. А здесь, на скрипучем диване, под чужой простыней, пахнувшей городским щелочным мылом, её слова впервые встали передо мной во весь рост.

Через три дня, с временным штампом в кармане, я вышел на поиски куска хлеба.

На товарной станции бригадир махнул рукой: нет трудовой книжки. В морском порту потребовали особый допуск. В мебельной артели велели приходить после листопада. К сумеркам я стоял на Лиговке, перебирая в кармане оставшуюся медь, и уже прикидывал, где переждать ночь, когда мужик в промасленной кепке окликнул меня из подворотни: «Грузить пойдешь?»

Хлебозавод прятался в глубине двора-колодца, и от ворот пахло так, что я замер.

Так пахло на нашей улице, когда женщины разом растапливали тониры и выпекали лаваш на месяц вперёд — густым, горячим духом зерна. Только здесь этот жар вырывался из кованых створок лавиной, оглушая, как слишком громкая музыка в пустом зале.

В отделе кадров пожилая усталая женщина глянула на мою прописку, потом смирив взглядом плечи.

— Здоровый. Деревянные лотки ворочать потянешь?

— Потяну.

— Смена вечерняя. С шести вечера до двух ночи. Когда учиться думаешь?

— Ночь длинная. Успею.

Она только усмехнулась углом рта и шлёпнула штамп на разовый пропуск.

Работа оказалась беспощадной. Из раскалённого чрева печей непрерывно ползли чугунные формы, в чанах бродило живое, кислое тесто, а обжигающие буханки нужно было на лету укладывать в тяжелые решетчатые лотки. Лотки таскали к фургонам: по восемь штук в стопке, по девять, если хватало дури в плечах. К полуночи пальцы сводило судорогой, а хребет начал гудеть, точно натянутый телеграфный провод под ветром.

Но к утру от меня на версту несло горячей коркой. Это был чистый, непостыдный запах.

Белая мучная пыль въедалась в брови, оседала на ресницах, и в первом утреннем трамвае пожилые кондукторши глядели на меня с тихой жалостью: мальчишка, а голова белая, как у старика.

Саша появился на проходную в начале второй недели.

Возник ниоткуда, в заграничной куртке нараспашку, бросил вахтёру, что он со мной, и шагнул в цех. Деньги ему были без надобности: отец получал свои стабильные сто восемьдесят, мать — сотню, а в их тяжелом пузатом холодильнике всегда стояла кастрюля с мясом.

— Ты сдурел? — спросил я, перехватывая стопку лотков. — Чего припёрся?

— Надоело штаны протирать. Помогу.

Егохватило ровно на четыре часа. На пятом он глубоко распорол ладонь о щепастый край лотка, зашипел от боли, но не ушёл: до самого рассвета таскал поддоны одной левой, сжав зубы и не проронив ни звука. Смену досидел на мучном ящике у пандуса. К нему домой мы ехали первым трамваем, звенящим на стыках. Саша спал сидя, запрокинув голову к поручню, а его правая рука была наглухо перебинтована моим носовым платком, сквозь который проступало темное пятно.

Потом он приходил ещё. Не каждый день, но появлялся именно тогда, когда смена шла на износ.

Вступительные экзамены прошли как в тумане, на трех-четырёх часах рваного сна. Сочинение я писал одеревеневшими пальцами — перьевая ручка рвала бумагу, буквы плясали, как пьяные. Математику вытащил на чистой злости и упрямстве. На устном экзамене по физике седой профессор долго всматривался поверх очков в мой чуб, потом постучал карандашом по столу:

— Молодой человек, отчего у вас вся голова в муке?

— Со смены иду, — сказал я прямо.

— Где трудитесь?

— На хлебозаводе. Грузчиком.

Старик молча вывел в ведомости жирную пятёрку и больше не задал ни единого вопроса.

Мы прошли оба. По честному конкурсу.

В общежитие я перебрался к концу августа. Всё мое имущество уместилось в фанерный чемоданчик и холщовый узел: пара сменного белья, шерстяные носки от бабушки, Новый Завет в тряпице и старая карточка матери.

Вахтёрша Клавдия Петровна занесла мою фамилию в конторскую книгу химическим карандашом, смачно посплюнив фиолетовый грифель:

— После двадцати трёх ноль-ноль дверь на засов. Хотя сам председатель горисполкома стучи — не отворю.

Комната досталась на четверых: железные койки с панцирными сетками, облупленные тумбочки, стол у подоконника и остывший чугунный утюг. В длинном коридоре день и ночь сипел кипятком титан, вокруг которого вечно толкались студенты с закопченными чайниками. Пахло хлорной известью, сырыми портянками и прелыми сушеными яблоками, которые сосед-полтавчанин раскладывал прямо на чугунной батарее.

Мое место было у самого окна. По ночам сквозь щели в раме тянуло гарью, и было отчетливо слышно, как на товарной сортировочной с глухим грохотом сцепляют вагоны.

Саша вполне мог остаться дома, в тепле родительской квартиры. Но он бросил заявление на комендантский стол в тот же вечер, соврав матери, что «из общаги ближе добираться на лекции». Она только вздохнула, сделав вид, что приняла эту ложь за чистую монету.

Нас определили в одну комнату.

В первую же субботу после стипендии и аванса я отправился в почтовое отделение.

В тесном зале стояла очередь к двум перегородкам. На кривоногом столике лежали серые бланки переводов, к дереву на ржавой цепочке была прикручена деревянная ручка с пером-«звёздочкой», а рядом лежала промокашка, насквозь пропитанная синими кляксами чужих вестей. Я выводил буквы долго, с нажимом, печатным шрифтом, боясь перепутать хоть единую черту в адресе, который и так помнил наизусть, как Отче наш:

Армянская ССР, Амасийский район, село Амасия.

Араксия Хачатурян.

Тридцать рублей.

Операторша за мутным стеклом не торопясь пересчитала мятые трёшки, со стуком вдавила переводной штамп и сунула мне синий квиток. И вот в эту самую секунду — я всем нутром ощутил: я больше не мальчишка, которого пустили в большой город из милости.

Я вышел на крыльцо. С серого неба сыпала ленинградская морось — не дождь даже, а холодная водяная пыль, намертво висящая в воздухе. Я расстегнул ворот, стоял под этой сыростью и долго не мог двинуться с места.

А затем в нашей жизни появился «Марал».

Полуподвальное, набитое табачным чадом заведение на углу Маяковского. Там густо пахло раскалёнными древесными углями, жаренной на костре олениной, резким кислым вином и крепким табаком. Никаких оркестров — только тяжелый мужской гул полусотни голосов, перестук вилок о тарелки и хриплый приёмник за кухонной занавеской, бубнящий что-то сквозь звон стаканов. Мясо подавали прямо на обугленных дубовых досках — с живым дымом, точно его только что сняли с шампуров на ширакском перевале.

Хозяйка за стойкой, дородная женщина с тяжелыми кавказскими глазами, встречала нас неизменной усмешкой:

— А, курсанты пожаловали. Проходите к углу, орлы.

Военная кафедра у нас действительно началась: по средам мы надевали шерстяную форму со знаками различия, и весь институт в эти дни пах оружейным маслом и кирзой. Но офицерами нас, кроме этой женщины, пока никто не величал.

Мы приходили в «Марал» раз в месяц — строго после получки. И каждый раз начиналась одна и та же схватка за счёт.

— Я закрываю, — Саша с силой хлопал ладонью по столу. — У тебя каждый полтинник горбом заработан, на хлебозаводе оставлен.

— Потому платить буду я, — я не убирал руку. — Мой рубль тяжелее. И чище твоего.

— Гордец амасийский, — он с досадой мотал головой. — С вами, армянами, за одним столом сидеть — чистое разорение, проще сразу сдаться.

— А ты не сдавайся. Женись на нашей. Она тебе быстро покажет, как хлеб достается.

— Избави бог! Она ж меня работать заставит от зари до зари.

И мы хохотали так, что за соседними столами мужики поворачивали головы и улыбались в усы. Там мы чувствовали себя взрослыми. И там однажды Саша, глядя сквозь сизый дым на темный свод потолка, вдруг сказал совсем тихо, без тени шутки:

— Чувствуешь, Арман?.. Мы ведь теперь не просто соседи по койке. Мы с тобой в одной упряжке. Насовсем.

Я ничего не ответил. Просто разломил пополам горячую лепешку и большую половину бросил на его доску.

Поздними вечерами мы уходили проходными дворами: мимо чугунных оград, вдоль глухих кирпичных брандмауэров, к старому жэковскому подвалу за тяжелой фанерной дверью.

Официально там ютилась секция «общефизической подготовки завода „Электросила“» — так значилось на машинописном листке, приколотом ржавыми кнопками. Мы ходили туда четыре года подряд: вторник, четверг, пятница и воскресное утро.

Наставника звали Сергей Николаевич Пак. Сахалинский кореец, инженер-конструктор, жилистый, невысокий, с желтоватым лицом, словно вырубленным из сухого морёного дуба. Он являлся всегда в застиранных, но идеально чистых трико и выглаженной рубашке. Переодевался молча, за ситцевой шторкой — душевых и шкафчиков в подвале не водилось.

Он никогда не отрабатывал удары на учениках. Бил только по брезентовому мешку, набитому сухой ветошью и песком. И после его короткого, сухого тычка мешок замирал на мгновение, а потом гудел и ходил ходуном ещё минут десять.

Первые полгода мы вообще не касались мешков. Стояли. Он вбивал наши ступни в бетонный пол, выстраивал низкую стойку, окидывал нас строгим взглядом и уходил к выходу. А мы стояли в неподвижности, пока икры не начинало сводить мелкой судорогой, а пот не зали-

вал глаза едкой солью. Саша однажды не выдержал, процедил сквозь зубы: когда же начнется настоящая драка?

Пак медленно выдохнул и посмотрел на него в упор:
— Она уже идёт.

Говорил он редко. Мысли чеканил скупое: рука, выброшенная в ярости, всегда бьет в пустоту; кто не научился терпеть неподвижность, на ринге ляжет в первые десять секунд. Однажды, проходя за моей спиной и поправляя мне локоть железным касанием сухих пальцев, он негромко обронил:

— Торопись — значит, уже испугался. Держи корень.

Только на четвертом курсе он впервые вызвал меня в пару. Мы отработали три минуты без единого слова. Пак не пропустил ни одного выпада, гася мои удары жесткими блоками, но после команды опустил на скамью раньше меня и долго, тяжело растирал шею полотенцем.

Больше он против меня в спарринг не становился.

Мое тело схватывало науку быстро: спина и предплечья, налитые тяжестью мучных лотков, слушались безотказно. Саша работал иначе: резко, нервно, бросался вперед с яростью бронебойного снаряда. Дважды я жестко ронял его на маты подсечкой, и оба раза он вскакивал на ноги прежде, чем я успевал протянуть ладонь, чтобы помочь подняться.

А к середине четвертого курса Саша начал гаснуть.

Стал исчезать по вечерам. Потом пропадать на целые ночи. Возвращался на рассвете, садился на край сетки прямо в сыром пальто и часами глядел в одну точку перед собой. Клавдия Петровна впускала его без лишних расспросов — жалела по-матерински, но на меня косилась с немим укором, будто это я не уберег побратима.

Я не лез с допросами. Ждал, пока заговорит сам. И это было малодушием.

Я настиг его в крещенские морозы, в сыром полузатопленном подвале на Петроградской стороне — адрес вытряс у одного из коридорных завсегдатаев. Потолок сочился черной влагой, под потолком слепо мигала голая лампочка-сороковатка. В углу жались трое с мутными, оловянными зрачками и перекошенными лицами. Саша сидел на трухлявом ящике из-под консервов. Рукав был закатан выше локтя, вены перетянуты грязным аптечным жгутом до мертвенной синевы, а в пальцах блестела надпиленная стеклянная ампула.

— Саша, — позвал я. Голос сорвался на хрип.

Он вздрогнул, но головы не поднял. Уставился в оплывший грязью пол, словно искал в бетоне щель, чтобы провалиться.

— Я только... один раз, Арман. Попробовать... снять напряжение...

Я не стал слушать. Сделал шаг, перехватил его холодное запястье и наотмашь вышиб склянку — стекло со звоном брызнуло о кирпичную кладку.

— Не трогай! — окрысился он, вскидывая кулаки. — Я сам... я сам знаю!

Я ударил его. Коротко, сухо, всей тяжестью набитого кулака — точно в угол скулы. Он кулем свалился с ящика на мерзлый пол, прижал пальцы к разбитой губе и не попытался подняться.

— Прости... — захрипел он в пыль. — Прости меня, брат...

И заплакал. Без воя и причитаний — глухо, страшно, содрокаясь всем нутром, как плачут сильные мужики, когда ломается их хребет.

Я опустился на колени прямо в подвальную грязь. Положил тяжелую ладонь ему на затылок, чувствуя, как мелко дрожит его мокрая от пота шея. Точно так же, как бабушка когда-то держала меня в Амасии.

— Я здесь, — сказал я прямо ему в ухо. — Слышишь? Даже если весь мир от тебя отвернется и ты сам решишь сдохнуть — я тебя не отпущу.

Мы возвращались через весь спящий город пешком: мосты были разведены, трамваи давно спали в парках. Буран над Невой постепенно стих. Саша шёл рядом, шатаясь от озноба, и всю дорогу намертво держался за сукно моего пиджака.

Он переломил эту дрянь. Весь первый месяц я водил его за собой как тень — даже на пары и в заводскую столовую. В феврале ломка выворачивала его суставы наизнанку; по ночам койка под ним ходила ходуном от судорог, и он до крови закусывал угол подушки, чтобы не разбудить спящий этаж. Про «один раз» мы не вспоминали больше никогда.

А в начале мая Василий Дмитриевич пригласил меня на чай. Мы сидели вдвоем на их просторной кухне. Старик достал из буфета граненый графин, плеснул на два пальца в рюмки, но пить не стал — просто положил тяжелые узловатые руки на стол:

— Оформим постоянную прописку, Арман. Хватит мыкаться по углам.

— Не стоит, дядя Вася, — ответил я. — У меня койка в общежитии, мне хватает.

— Общежитие — это временный ночлег для перекаати-поля, — жестко оборвал он. — А человеку в жизни нужен постоянный корень.

Я написал об этом в село. Письмо ползло через Кавказские хребты девятнадцать дней, ответный конверт вернулся через двадцать два. Писала мать — аккуратными, выверенными строчками, какими пишут учительницы: что в горах всё спокойно, что снег сошёл вовремя, что отправленные деньги спасли овец, а у соседки Србуи родился внук.

А в самом низу листа, под ровной маминой строкой, чернели четыре неровных слова на армянском — буквы были выведены с такой яростной силой, что карандаш прорвал плотную бумагу:

«Хлеб святой. Руки мой».

Больше бабушка не прибавила ни единой точки.

Глава 3. Последний экзамен

Красный коленкор обложки ещё пах свежим столярным клеем и типографской краской.

Я держал диплом двумя руками, как вытащенную из тонира горячую лепёшку, и не знал, куда его деть. В карман он не лез. Под мышку — глупо. Так и вышел с ним из актового зала.

На защите я говорил ровно, просто раскладывая то, что знал, а знал я это намертво. Меня не перебивали. Только под конец седой человек в третьем ряду сдвинул на лоб очки и спросил, откуда у меня такой странный акцент на слове «частота». Я ответил, что из Армении. Он коротко кивнул, будто это всё объясняло, и водрузил очки на переносицу.

Пять лет. Из них четыре года — с мучной пылью в волосах.

В гулком коридоре Саша с размаху хлопнул меня по плечу:

— Ну что, академик? Теперь нам море по колено.

— И тебе, брат.

— У меня всё проще. Синий. — Он подкинул свой диплом на ладони и легко поймал. — Зато честный. На что наработал, то и получил.

Василий Дмитриевич ждал на улице. Стоял у массивной колонны и курил, глядя поверх крыш. Лето выдалось щедрое, ленинградское: горячий асфальт, тягучий ветер с Невы, тополиный пух, забивший водостоки.

— Отличник, — сказал он, не поворачивая головы. — Я слышал, кафедра хотела тебя оставить.

— Хотела.

— Аспирантура. Три года. Потом зацепился бы насовсем.

— Три года, Василий Дмитриевич.

Он глубоко затянулся и наконец перевёл взгляд на меня.

— Ну и что?

— То, что три года я буду есть, но не зарабатывать. — Я смотрел на тлеющий край его папиросы, а не в глаза. — У меня там мать. И бабушка, которой семьдесят один.

Он ничего не ответил. Докурил, аккуратно затушил окурок о край чугунной урны и бросил внутрь.

— Дурак ты, Арман, — сказал он без тени злости. — Но, пожалуй, правильный дурак.

Повестка пришла через неделю.

Кафедра у нас была с военным уклоном, но офицерских погон не давала: так, сборы, стрельбы да намотанные портянки раз в год. Выходило, что шли мы рядовыми. Сначала учебка, а уже после выпуска, если не сломаешься, — звёздочка на плечо.

В коридоре военкомата пахло сургучом и мокрой хлорной тряпкой. Призывники жались вдоль обшарпанных стен, вполголоса обсуждая распределение. И сквозь шелуху фамилий,

номеров команд и округов сквозняком тянуло одно-единственное слово. Его произносили глухо, одними губами, как тяжёлый диагноз.

Афганистан.

Саша шёл по другому списку. Другая часть, другой город, а если повезёт — вообще благополучная заграница вроде Венгрии или Германии, где служат в отутюженной форме и пишут домой по расписанию.

Тем же вечером он встал перед отцом и сказал:

— Мы договорились быть рядом.

В его голосе не было просьбы. И Василий Дмитриевич, не ответив ни слова, медленно потянулся за папиросой.

Через три дня отец Саши вернулся домой затемно. Медленно сел за кухонный стол, налил себе остывшего чаю, но пить не стал. Достал папиросу, покрутил в пальцах и положил в стеклянную пепельницу.

— Всё. Вы в одной команде.

— Куда? — спросил я.

— Таджикистан, Куляб. Учебка. Дальше — как командование решит. Но пойдёте вместе.

— Спасибо.

— Я это не за спасибо делал. — Он тяжело отмахнулся. — Пришлось положить пятьсот. Бумажными.

Пятьсот.

Я прекрасно знал, сколько он получает в своём КБ. Знал, сколько стоит зимнее пальто, в котором он ходит, и как тётя Аня по копейке откладывала на новый холодильник, потому что их старый «Саратов» надрывно гремел по ночам на всю квартиру.

Я молча встал, вышел в прихожую и сунул руку во внутренний карман пиджака.

Там лежали триста двенадцать рублей — всё, что я скопил на заводе за последний год. В последнее время я стоял уже не на погрузке, а на приёмке, и платили там весомее.

Я вернулся на кухню и положил пачку денег на клеёнку перед ним.

Василий Дмитриевич посмотрел на смятые купюры. Потом перевёл тяжёлый взгляд на меня. Смотрел долго.

— Убери.

— Василий Дмитриевич, я...

— Убери со стола, — повторил он тихо, но с таким нажимом, что я подчинился.

Он взял нераскуренную папиросу из пепельницы. Зажигать так и не стал.

— Ты пойми одну простую вещь, Арман. — Он говорил медленно, разглядывая узор на скатерти. — Я их не за тебя положил. И даже не за Сашку. Я их отдал за то, чтобы вас там было двое. Одному в тех краях... — Он осёкся и не договорил. — Двоим легче спину держать. Это не доброта, парень. Это голый отцовский расчёт.

Мы долго сидели в тишине. В коридоре дребезжал компрессором старый «Саратов».

Некоторые человеческие долги не перекрываются бумажными деньгами. Они ложатся прямо на хребет, врастают под кожу, и ты понимаешь, что отдавать их придётся совсем другой монетой. И платить — всю оставшуюся жизнь.

В свой последний вечер мы спустились в «Марал».

Хозяйка, завидев нас, не улыбнулась. Молча поставила на стол доски с дымящимся мясом, вытерла руки о передник и задержалась рядом, глядя куда-то поверх наших голов в сторону шумной кухни.

— Вернитесь, — сказала она глухо. — Целыми вернитесь. Ордена везти не обязательно. И ушла за стойку.

Счёт она так и не принесла. Перед уходом я оставил деньги под тарелкой, придавив их тяжелой перчаткой, чтобы она не подумала, будто мы забыли, кто мы такие.

Обратно шли пешком. Белые ночи ещё держали город, небо над крышами застыло прозрачным, сиреневым стеклом, словно кто-то забыл выключить свет. В этом мареве всё казалось хрупким и ненастоящим — и гранитные набережные, и мы на них.

У Литейного моста Саша вдруг остановился, опёрся локтями на чугунные перила и уставился на свинцовую воду Невы.

— Слушай, брат, — сказал он, не поворачивая головы. — Если я там вдруг начну бояться... ты не смей.

— Не начну.

— Слово?

— Пока ты рядом стоишь.

Он удовлетворённо кивнул воде, оттолкнулся от перил, и мы пошли дальше.

Утром, перед вокзалом, я завернул на почту.

Всё та же немая очередь к двум перегородкам, та же деревянная ручка на цепочке. Только промокашка на столе лежала свежая, без единого пятна — единственное, что изменилось в этом зале за пять долгих лет.

Армянская ССР, Амасийский район, село Амасия.

Араксия Хачатурян.

Триста двенадцать.

Женщина за стеклом пересчитала купюры дважды.

— Много шлешь.

— Много, — эхом согласился я.

— Случилось чего?

— Нет.

Она с силой впечатала штамп и подвинула мне синий корешок.

В коротком сопроводительном письме я написал, что окончил институт с красным дипломом. Что забирают отдавать долг, как и всех нормальных парней. Что учебная часть будет в Таджикистане, а там тепло, горы и полно фруктов, поэтому волноваться абсолютно не о чем.

Одно-единственное слово, гулявшее сквозняком по коридорам военкомата, я на бумагу не перенёс.

Поезд отходил в шесть утра.

Клавдия Петровна накануне вычеркнула мою фамилию из общажной тетради, по привычке послунив карандаш, а потом вдруг сунула мне в руку кулёк с лимонными карамельками — как малому ребёнку.

На перроне тётя Аня лихорадочно совала Саше бумажный свёрток с домашними пирожками и всё пыталась поправить ему воротник куртки, хотя поправлять там было нечего. Василий Дмитриевич крепко, до хруста в костяшках, пожал мне руку и не произнёс ни слова.

Мы сели. Состав дёрнулся и поплыл.

Я снял пиджак, чтобы забросить его на багажную полку, и пальцы машинально скользнули по подкладке. Нашупали то место с изнанки, где пять лет назад лежали сорок два рубля. Мать зашивала их при мне, суровыми белыми нитками.

Ниток там давно не было — я выпорол их в первую же ленинградскую зиму. Но ткань всё ещё хранила жесткий рубец от старого шва.

Я провёл по нему пальцем. Свернул пиджак пополам и молча убрал наверх.

Глава 4. Учебка. Стена

Автобус вывалил нас на пустырь и уехал. Пыль ещё висела в воздухе, а мы уже стояли в строю.

Куляб встретил не солнцем — раскалённой печью. Сухой, злой воздух не входил в грудь, а вставал в горле комом. Небо висело низко, выгоревшее добела. Глина под ногами потрескалась на жесткие плитки, как старая разбитая посуда.

По краю пустыря тянулись тутовники, серые от пыли. За ними — глухие дувалы кишлака, арык, женщина в длинном платье с мотыгой на плече. Пахло жжёной травой, навозом и хлебом.

Хлебом. Где-то за глиняной стеной топили тандыр, пекли лепёшки, и дух шёл тот самый — из бабушкиного тонира, из другой моей жизни. Я стоял в строю, в новом, уже прилипшем к лопаткам хэбэ, и не имел права даже повернуть голову в ту сторону.

Дальше, за холмами к югу, лежала река. А за рекой — Афганистан. У меня в жизни уже была одна такая река.

Саша щурился на слепящее небо.

— Вот он, рай земной.

— Ад, — сказал я. — Только в форме.

Прапорщик оказался сухим и вытянутым, будто его самого вялили на этом солнце не первый год. Глаза — два выцветших винтика.

— Добро пожаловать, орлы. Теперь вы дома. Дом у нас строгий. Нарушил — получил. Выжил — пошёл дальше.

Голос был без надрыва. Но в нём лязгало что-то такое, от чего хотелось вытянуться в струну и не дышать.

Он открыл картонную папку и стал зачитывать личные дела. Не спеша. Фамилия, год, откуда, образование. Дошёл до нас.

— Жданов. Ленинград. Высшее. — Короткая пауза. — Хачатурян. Высшее.

Он поднял голову и посмотрел на меня поверх папки.

— С отличием, — прочёл он. И повторил по слогам, будто пробуя на зуб: — С отлич-чи-ем.

Строй молчал. Но где-то за спиной, в задних рядах, кто-то коротко хмыкнул. Один раз.

Наши дипломы лежали дома. Я отправил свой в Амасию за неделю до призыва — заказным письмом. Позже мать напишет, что бабушка поставила его за стекло в буфет, рядом с карточкой деда, и протирает полку каждое утро. Здесь, на этом пустыре, от него было ровно столько же пользы, сколько от той карточки.

Потом была баня.

Машинки жужжали, как осиное гнездо. Стригли волосы, сбывая вместе с ними твою прошлую жизнь: наголо, тупыми ножами, с отяжкой, чтобы рвало кожу. Меня усадили на табурет и накинули простыню, жёлтую от чужого пота.

Их было двое. Старший призыв. Один широколицый, со шрамом на подбородке, второй — тонкий, с ленивой ухмылкой. Между собой перекидывались по-азербайджански, ко мне обращались по-русски. За их спинами слонялось человек двадцать таких же «дедов», и сержанты предпочитали в ту сторону не смотреть.

— Ну что, инженер. — Тонкий взял машинку. — Теперь лысый. С почином.

Машинка щёлкнула у самого уха, как ружейный затвор. Он провёл борозду ото лба к затылку, остановился и скосил глаза на широколицего.

— Слышь. С отличием который.

— С отличием, — лениво отозвался тот.

Тонкий достриг молча. Сдёрнул с меня простыню, скомкал и швырнул в угол. — Волосы подмети.

Голый веник упал мне прямо под ноги. — Кто метёт, тот спокойно живёт.

Я не наклонился. Саша стоял у облупленной стены и тоже не двинулся с места.

Воздух в каптёрке сгустился и встал. Дело было не в венике. За пять ленинградских лет мне доводилось делать работу погрязнее, и руки от этого не отсохли. Дело было в другом: *подметать требовалось при них и для них*. Наклонись я сейчас — и завтра мели бы все, кто на нас смотрел.

Работа человека не пачкает. Пачкает поклон.

— Ты, хачик, глухой? — Тяжёлый голос ударил в спину.

Я медленно встал с табурета. — Нет. Слышу хорошо. И шагнул.

То, что началось следом, дракой назвать нельзя. Это была мясорубка. Их мигом стало пятнадцать — из моечной на шум повалили мокрые, с распаренными красными спинами. В ход пошли черенки от швабр, ремни с литыми бляхами, кулаки. Кафель под ногами был скользким от мыльной пены. Саша ударил первым — без замаха, коротко в переносицу, следом локтем в горло. Я пошёл плечом в грудь, костяшками в висок.

Мы не договаривались. Просто в какой-то момент встали спина к спине. Я почувствовал его лопатки своими, и дальше голова отключилась.

Сергей Николаевич учил: рука, поднятая в гневе, всегда бьёт мимо. Гнева во мне не было. Была тяжелая, черная работа.

Кровь веером брызнула на белую плитку. Чей-то зуб со стуком покатился по полу, как оторванная пуговица. Но нас было только двое.

Кто-то сбоку перехватил швабру за середину, как дубину. — Брат! — рявкнул Саша. Свет в глазах вспыхнул и тут же погас.

Следующие дни помню рваными кусками. И не поручусь, что помню всё, а не выдумал в бреду.

Помню воду. Меня поили с ложки, вода была тёплой, с резким привкусом железа. Помню, как над самым ухом кто-то бросил слово «трещина». Его я разобрал ясно, остальное провалилось в гул.

И помню бабушку. Во сне она стояла на пороге нашего амасийского дома и говорила мне то, что всегда говорила словами Писания: бойся не тех, кто убивает тело — тело всякий убить может. Бойся тех, кто отберёт душу, её потом не найдёшь. А потом тяжело опустила сухую ладонь мне на затылок и держала, как в детстве, когда я спешил жить.

Я хотел сказать ей, что душу не отдал. Что я стоял до конца. Но рот не открывался, и она медленно ушла в дом.

Проснулся я от монотонного скрипа вентилятора.

Он натужно гудел под потолком, гоня горячий воздух и ничего не остужая. Пахло спиртом, йодом и хлорной известью. Простыня подо мной насквозь промокла. Голова была стянута бинтом, и от затылка шла тупая, ровная боль — не острая, а такая, будто кто-то положил туда пудовую гирию и забыл убрать.

Я машинально поднял руку к груди. Креста не было.

Я шарил пальцами по ключицам, по шее, под спиной, под жёсткой простынёй и никак не мог остановиться, хотя уже понимал — пусто.

— Очнулся. Саша сидел на соседней панцирной койке. Лицо разбито, грудная клетка перемотана, правая рука в гипсе на перевязи, на губе чёрная корка. Улыбался кривовато.

— Ты живой, — выдохнул я. Голос лязгнул, как ржавый гвоздь.

— Оба живые. — Он повёл здоровым плечом. — Хотя тебя тут, между прочим, уже отпевать готовились.

— Как ты сюда попал? В госпитале в одну палату не кладут.

— Не кладут. — Он откинулся спиной к стене, явно довольный собой. — Была тут одна сестричка. Ленка. Светленькая, глаза строгие, косынка вот так. Учится только. Я ей говорю: Лена, переведите меня к нему. Она — ни в какую, устав не велит. А я говорю: я же тут сдохну от тоски. Или влюблюсь в вас. И тогда всё равно вам меня спасти придётся, только уже с осложнениями на сердце.

— И? — И она сказала: «Казанова подбитый». — Он постучал пальцами по гипсу. — И перевела.

Я слабо рассмеялся, но рёбра тут же отозвались такой резкой болью, что пришлось замереть и дышать поверхностно. Саша терпеливо ждал, пока меня отпустит.

— Про нас в роте гудят, — сказал он, сбавив тон. — Половина части обходит по дуге.

— А те?

— Ротный устроил кровавую баню. Троих на губу. Остальные ходят, как воды в рот набрали. — Он помолчал. — Ротный, кстати, заходил сюда вчера. Смотрел на тебя минуты две, молча. А в дверях обернулся и бросил: «Через полгода отсюда выйдут сержанты. Кто выйдет, конечно».

— Всё?

— Всё. — Саша усмехнулся разбитой губой. — Но сказал он это мне, а смотрел на тебя.

В тот же день ко мне пробился земляк.

Коренастый парень из Ленинакана, шея шире головы, на руках цыпки от ледяной воды. Принёс завернутый в газету кулёк с урюком, поставил на тумбочку. Сел на самый край матраса и долго молчал, не зная, с чего начать разговор с перебинтованным.

Потом тяжело вздохнул и произнес по-армянски: — *Одной рукой в ладоши не хлопнешь, ахпер... Цавт танем.*

Я не слышал армянской речи все пять ленинградских лет. Я лежал, слушал этот гортанный, кровный звук, и мне было почти всё равно, о чём именно он говорит. Главное — как.

Он посидел ещё немного, поднялся и сказал уже по-русски, глядя прямо в глаза: — Ты только на ноги встань. Дальше мы сами.

Вечером, когда солнце свалилось за горы и жара перестала давить отвесно, в палату вошёл человек. Тот самый. Широколицый. Со шрамом на подбородке.

Вошёл один, без ремня, в мятой хэбэшке. Остановился у порога. Саша на соседней койке беззвучно подобрался, приподнявшись на здоровом локте.

Тот сделал несколько медленных шагов к моей кровати. Молча вытащил что-то из кармана и положил на металлическую тумбочку — рядом с урюком. Развернулся и так же молча вышел.

Это был мой крест. Порванный шнурок завязан заново — грубым, корявым узлом, но намертво.

Я сгрёб его в кулак. Золото было чужим и холодным. Я сжимал его в ладони до тех пор, пока оно не стало тёплым.

Глава 5. Пыль и кость

На одиннадцатый день я вернулся из госпиталя в казарму.

В расположении что-то неуловимо сдвинулось. Я не сразу понял, что, а потом увидел: молодые перестали прятать глаза и смотреть в заплёванный пол.

Земляки потянулись к моей койке в первый же вечер. Ребята из Еревана, из Ленинакана, из тех горных сёл, где имена чеканят с гортанным нажимом. Один молча положил на тумбочку кусок пайкового масла. Другой протянул иголку с суровой ниткой. Третий просто опустился на край сетки и просидел полчаса без единого слова.

У нас на родине так сидят у постели больного — разделяя тяжесть.

Я никого не звал. Это братство собралось само, пока я лежал в палате с пробитой головой и смотрел в потолок.

Старший из них, тот самый коренастый ленинаканец с широкой шеей, оглядел набившихся в проход парней:

— Одним цветком весны не сделаешь.

Он сказал это по-армянски.

Утро начиналось одинаково: надрывный свисток, топот кирзы, плац.

На третьи сутки я вышел из строя до команды и лёг в упор лёжа. Хотелось немного размять кости и мышцы.

Мне нужно было знать, помнят ли руки вес тела после больничной койки. На десятом отжимании затылок налился чугуном, плац качнулся, и я уткнулся лбом в жёсткий асфальт. Лежал, пока муть в глазах не осела.

Потом отжал ещё десять.

Саша со своим гипсом был не боец. Он опустился рядом на корточки и принялся считать вслух — и голос у него оказался звонче сержантского. Следом упал в упор Вардан из Ленинакана. За ним — ещё двое.

К концу недели по утрам нас падало на плац человек тридцать, и половина из них были не армяне. Витька из-под Пскова, двое жилистых украинцев, тихий белорус, которого все звали Бульбой, а он и не думал обижаться. Старший сержант Кучеренко первые дни курил в стороне, исподлобья наблюдая за этой самодеятельностью. А потом швырнул окурок в урну и молча лёг с левого края.

По вечерам мы спускались за казармы, в высохший овраг, где песок был рыжим и мягким. В песок не страшно падать. Я показывал парням то, что четыре года вбивал в меня Сергей Николаевич.

«Кто не научился стоять, в драке ляжет первым» — я твердил им его уроки. Но теперь к словам Пака прибавились мои собственные, выученные на скользком кафеле:

— Бьют не для того, чтобы красиво свалить чужого. Бьют для того, чтобы тот, кто стоит у тебя за спиной, вернулся домой живым.

Троицу, устроившую нам баню, ждал отнюдь не карцер. Дело пахло скверно: у Саши перелом, у меня трещина в черепе, а двоих из старшего призыва увезли в санчасть ещё до появления дежурного по части. По всему выходило — трибунал и дисбат.

Но через пару дней в пыльный двор вкатилась чёрная «Волга».

Из неё тяжело выбрались трое грузных мужчин в костюмах, сверкнув массивными золотыми перстнями. Отцы. Примчались из Баку вытаскивать своих. Они переговаривались по-азербайджански — властно, с нажимом, и по одному их тону было ясно: эти люди приехали не просить. Один — директор завода, другой из райкома, третий, как шептались в роте, держал место на большом рынке.

Они прошли мимо солдат у курилки, не скользнув по ним даже взглядом, словно мимо пустого места, и скрылись за дверью комбата.

Что там происходило, никто не знал. Сидели они долго, а после разговора «Волга» ещё с час стыла во дворе, пока один из отцов таскал из багажника в штаб какие-то увесистые свёртки.

Суда не случилось. Дисбата — тоже.

Через неделю троицу выпустили с гауптвахты обратно в роту. К нам же.

Они шагали по плацу в новеньком хэбэ, в надраенных до блеска сапогах, по привычке задрав подбородки. Кто-то из наших молодых дёрнулся им навстречу; я молча положил тяжёлую руку ему на плечо, и он остался стоять.

Их никто не тронул пальцем. Но и с дороги никто не сдвинулся ни на миллиметр.

Вечером дневальный взял голик в умывальнике сам — просто потому, что подошла его очередь. Никто никого не заставлял мести пол. Для этих троих глухая, ледяная стена отчуждения оказалась страшнее любой ножевой драки.

Тот, со шрамом на подбородке, шёл по плацу чуть позади своих. Подбородка он больше не задирал. Смотрел в пыль под сапогами.

Поравнявшись со мной, он замер.

Его земляки ушли вперёд. Русский давался ему тяжело, слова выталкивались сквозь зубы с глухим сопротивлением:

— Я не хотел тогда, в бане. Приказали старшие. У нас нельзя не пойти со своими.

Я смотрел сквозь него.

— Крест я тебе принёс, — добавил он тише. — Ты помни это.

Я машинально коснулся груди, где под тельником лежал тяжёлый золотой крест.

— Помню.

Он коротко кивнул и поспешил за своими. Больше мы с ним не обменялись ни единым словом. Но когда встречались на плацу, он опускал глаза и едва заметно кивал.

Я кивал в ответ.

Ночью Саша сидел на заправленной койке и строчил письмо домой.

Закусив губу, он с нажимом выводил буквы и через каждые две строчки перечитывал написанное.

— Слушай. Как правильно: «обнимите всех» или «обними всех»?

— Смотря сколько их там.

— Тётки. Три штуки.

— Обнимите.

— Вот. — Он ткнул в мою сторону концом ручки. — Не зря тебе красный диплом выдали.

Я заложил руки за голову, разглядывая серый потолок.

Он писал ещё долго. Потом перестал скрипеть пером.

— Прочитать?

— Читай.

— Не всё.

— Читай не всё.

Он пододвинул лист поближе к полосе дежурного света из коридора.

— *«У меня всё хорошо, не волнуйтесь. Мы тут учимся быть не просто солдатами, а людьми. Я рядом с настоящим братом. Не по крови — по жизни».*

Оборвал фразу. Сглотнул.

— Дальше про Лену. Это тебе без надобности.

— Ростовская?

— Ростовская. — Он едва заметно улыбнулся. — Светлая. Со стержнем.

Потом пробежал глазами строчки и дочитал совсем тихо, почти шёпотом:

— *«Иногда хочется стать снова мальчишкой, положить голову маме на колени и молчать. Но теперь я должен держать».*

Он аккуратно свернул тетрадный лист вчетверо.

— Мать заплачет?

— Заплачет.

— Ну и пусть.

Он сунул свернутое письмо под подушку, где лежал чистый конверт, и выключил над собой свет.

Глава 6. Вкус тепла

После тех ночей в овраге казарма задышала иначе.

Азербайджанцы, чьи отцы привезли в штаб тяжёлые свёртки, больше не смотрели поверх голов. Ходили тихо, ели, не поднимая глаз, смотрели в землю. Их спесь осталась там, на мыльном кафеле моечной. Теперь рота напоминала улей — гудящий, но потерявший жало.

Армяне держались рядом со мной. Русские и украинцы — вокруг Саши. А на утренней зарядке делить людей на своих и чужих стало нелепо: Вардан падал в упор лёжа слева от меня, Витька из-под Пскова — справа, и даже молчаливые, тяжёлые сибиряки выходили на плац вместе со всеми.

— Это уже не армия, — бросил кто-то в курилке. — Это братство.
Никто не засмеялся.

Саша всё чаще пропадал в санчасти.

Её звали Лена Дьяченко. Двадцать лет, ростовчанка — та самая, что на свой страх и риск перевела его ко мне в палату. Белый халат сидел на ней строго, пах крахмалом и медицинской чистотой. Пальцы у неё были уверенные, шприц в руках никогда не дрожал, а взгляд смотрел прямо, не мигая. Но стоило Саше появиться в дверном проёме, её голос почему-то неуловимо садился и становился тише.

Однажды он притащил ей букет. Жалкие, выжженные кулябским солнцем полевые цветы, сорванные за бруствером стрельбища. Они поникли, но густо пахли сухой землёй и полыньёю.

— Это что за гербарий? — спросила Лена, не отрываясь от заполнения журнала.

— Трофей. — Саша положил букет на край стола. — Взят с боем у местной флоры. Специально для тебя, Леночка.

— В устав флора не входит.

— Значит, нарушаем.

Она коротко, несмело рассмеялась.

— Ты не исправим, Жданов.

— А ты — моя единственная надежда на то, что после этой дыры есть нормальная жизнь.

Лена отложила ручку. Подняла глаза.

— Я не играю, Саша.

— И я.

В кабинете повисла плотная, звенящая тишина. Только билась о стекло одуревшая от зноя муха да мерно капала вода в фаянсовую раковину. Они смотрели друг на друга, и слова здесь были больше не нужны.

А к вечеру того же дня я подсел на скамейку к Ерми Шарафовичу.

Прапорщик из хозчасти, встречавший нас в день приезда на пыльном пустыре, держал в кулаке больше, чем иной строевой офицер. Через него шли наряды, списки, распределение — кто, куда и кем пойдёт после выпуска.

— Вардана надо оставить здесь, — сказал я прямо. — И ещё троих наших. У Вардана мать одна, отец помер. Ему за реку нельзя.

— Широко шагаешь.

— Не широко. Четверых прошу.

Ерми глубоко затянулся. Папироса дотлела почти до желтых ногтей, но он не стряхивал пепел.

— Четверо стоят денег, — произнёс он в никуда. — Не мне. Туда, наверх. Две тысячи.

— Две тысячи, — эхом отозвался я.

— И где ты их возьмёшь? — Он наконец повернул ко мне голову. — У тебя мать да бабка в горах. Ты им сам последние рубли переводишь, я знаю.

Я знал, где взять. И знал, что тошнить от этого меня будет долго. Но жизнь Вардана стоила дороже, чем моя белорукая гордость.

После отбоя я позвал азербайджанцев к старому топливному складу.

Их пришло трое. Тех самых. Вокруг густо пахло пролитой соляркой, под козырьком крыши слепо шурилась тусклая лампочка. Они встали у кирпичной стены, напряжённые, как струны.

— Вы кровь пролили, — начал я без вступлений. — У Саши кость сломана. У меня голова пробита. А Вардан за меня удар черенком принял, когда я уже встать не мог. По-вашему, это как? Так просто в песок уходит?

Старший из них смотрел исподлобья и молчал.

— По вашим законам за кровь платят, — сказал я жёстко. — Я это знаю, и вы знаете. Ваши отцы привезли комбату свёртки, чтобы вы не сгнили в дисбате. Теперь заплатите вы. За тех, кого искалечили. Две тысячи.

— Это большие деньги, — выдавил старший.

— Это кровь. А кровь дешёвой не бывает.

Тот, со шрамом на подбородке, не отрывал от меня тяжёлого взгляда.

— А если скажем «нет»? — спросил старший.

Я мог бы ответить: «Тогда я ослаблю ваших отцов на весь округ, и купленное дело всплывёт». Это сработало бы безотказно. Но так угрожают слабые. Я стоял перед ними с позиции силы и не собирался разменивать её на шантаж.

— Принесёте, — ровно сказал я. — Потому что это долг. И вы сами это понимаете.

Старший долго разглядывал носки своих сапог. Потом глухо кивнул.

Через пять дней деньги были у меня. Свёрток в плотной серой бумаге мне передал тот, со шрамом. Отдал молча, но, уже развернувшись уходить, бросил через плечо:

— Я своим сразу сказал: этот парень не отступит. — Он пожевал губу. — Ты золотой крест тогда даже не попросил. Я сам тебе его принёс.

— Помню. За крест — спасибо. А за это, — я сунул свёрток за пазуху, — не благодарю. Вы долг закрыли.

Спустя полчаса я отдал бумагу Ерми Шарафовичу. Он взвесил свёрток на ладони, не разворачивая, и сунул в карман галифе.

— Четверо останутся в постоянном составе. Моё слово.

Я вышел от него в раскалённую тьму. Над Кулябом висела крупная, звездная южная ночь, где-то за дувалами хрипло брехала собака, тянуло пылью и чужим кишлачным дымом.

Вардан останется здесь. И ещё трое парней никуда не поедут. Их не отправят в Афган. Их матери дождутся своих сыновей живыми. Это было абсолютно правильное дело, и ради него я прошёл бы через этот грязный торг снова.

И всё-таки, шагая через пустой плац, я вдруг поймал себя на том, что обхожу свет фонарей. Иду в тени, вдоль бетонной стены.

В голове всплыл голос бабушки: *«Грязными руками чистого хлеба не разлочишь»*.

Руки у меня не были грязными. Но и чистыми они быть перестали. Я выкупил своих чужой монетой — той самой, от которой меня с души воротило.

Наверное, такими руки и становятся у всякого, кто живёт среди живых людей, а не молится в одиночестве.

В здании санчасти светилось одно окно. Жёлтое, тёплое пятно в глухой ночи.

Саша стоял под ним, привалившись плечом к раме.

— Иди, — бросил он мне, не оборачиваясь. — Я тут ещё на минуту.

Я кивнул и пошёл к казармам один. За моей спиной тихо скрипнула входная дверь санчасти, и жёлтый квадрат окна погас.

Глава 7. Перед бурей

Учебная часть казалась бесконечной. Глухой, обнесённый забором город, где каждая скрипучая половица давно выучила твой шаг, а ты — чужой кашель в ночи. Но у всего на свете есть край.

Ранним утром, когда воздух ещё держал колющий ночной холод, а солнце только выползло из-за крыш штаба — тяжёлое, багровое, словно налитое кровью, — на фанерной доске появился ватман. Белый лист, пришпиленный кнопками. На нём списки. Фамилии стояли ровными колонками, как надписи на надгробных плитах.

Хачатурян Арман — Афганистан. Разведрота.

Жданов Александр — Афганистан. Передвижной штаб.

Отправка через шесть суток.

Ни единого лишнего слова. Только факт, от которого не отвернёшься и не спрячешься.

Разведрота.

Пять лет я изучал, как бежит ток по проводам, и седой профессор в третьем ряду допрашивал меня о частоте. В разведроту забирают не за чертежи.

С того утра казарма замолчала. Разом оборвался мат, лязг котелков, скрип коек. Так мужики во дворе прячут сигареты в кулак и снимают кепки, когда мимо проносят открытый гроб.

Через день актовый зал клуба был полон. Никто не отдавал приказа строиться — пришли сами. Мы с Сашей стояли в первом ряду. Перед нами — армяне, те самые ребята, что последнюю неделю держались за нас, как за скалу в шторм.

На сцену поднялся Вардан. Сначала переминался, потом упёрся ногами в доски твёрже. Голос его подрагивал, но глаза были абсолютно сухими.

— Мы остаёмся. Нас не берут за реку. Это вы сделали, братья.

Он обвёл тяжёлым взглядом притихший зал.

— Здесь был ад. Вы сделали так, что мы выстояли и не сломались. Теперь наша очередь держать эту стену. Даём слово: не будет больше «духов», «чурок» и «живности». Кто нарушит — сам уйдёт. На карачках уйдёт.

Он поднял руку и с силой прижал ладонь к груди.

— Клянусь могилой отца. Клянусь Араратом. Он всё видит. И такого не простит.

Я стоял и молча принимал эту чистую сыновнюю благодарность за дело, купленное грязными деньгами.

Потом подошёл к нему и обнял. Коротко, крепко.

— Верю. Как родному брату.

Последние шесть суток тянулись вязко, как старая плёнка в заедающем проекторе — кадр за кадром, с шипением и царапинами. Пробежки. Турники. Короткие, рубленые разго-

воры, обрывающиеся на полуслове: все и так знали одно и то же, и трепать языком об этом не хотелось.

Саша почти всё свободное время проводил в санчасти.

Лена всегда встречала его за работой. Халат, туго стянутая косынка. Когда за его спиной закрывалась дверь, она не вздрагивала и не оборачивалась сразу. Просто звук стеклянной ампулы о металлический лоток становился чуть резче. Она заставляла себя дописать слово в дежурном журнале или закрыть крышку стерилизатора, и только потом поднимала глаза. Саша вставал у косяка и не торопил.

Он приносил ей яблоки. Мелкие, дикие, кислые, согретые солнцем только с одного бока. Или пару лимонных карамелек в слипшихся бумажных обёртках. Называл их «армейскими цветами». Лена ворчала для вида, но яблоки аккуратно выставляла в стеклянный стакан на подоконнике, будто это были хрустальные розы.

— Я не умею красиво.

— А мне не надо красиво. Мне надо по-настоящему.

Про их последний вечер он рассказал мне сам — много позже, уже за рекой, в глухой афганской темноте, когда говорить оказалось уже не страшно, потому что всё самое страшное осталось снаружи.

Он постучал в её дверь. Три коротких удара ладонью.

Она открыла сразу. Не в белом казённом халате, а в простой домашней кофте и юбке. Русые волосы тяжелой волной рассыпаны по плечам. В комнате горела только настольная лампа, и ломаная тень от абажура лежала на штукатурке, как птичье крыло. Пахло спиртом, теми самыми дикими яблоками и чем-то ещё — живым, тёплым, её собственным.

Они стояли на пороге.

— Я ухожу.

— Знаю.

— Можно... не прощаться в дверях?

Она не ответила. Просто сделала шаг назад, вглубь сумеречной комнаты:

— Иди сюда.

Он переступил порог. Дверь закрылась.

Она не стала гасить настольную лампу. Подошла и сама опустила ладони ему на грудь. Он говорил, что от этого простого прикосновения у него, здорового лба, не знавшего страха в драках, вдруг мелко затряслись руки. Лена — всегда выверенная, строгая — уткнулась лицом в колючее сукно его гимнастёрки и заплакала. Без единого звука, стиснув зубы, только тяжело, надрывно вздрагивали плечи.

Он стал целовать её мокрое, горячее лицо. Солёные губы, шею. Нашупал холодные пуговицы кофты. В тишине звякнула о линолеум упавшая заколка, и тяжёлые русые волосы хлынули на его пальцы.

У них была только узкая медицинская кушетка, обтянутая скользкой клеёнкой, да грубое солдатское одеяло. Саша говорил, что в ту ночь он ни разу не почувствовал себя завоевателем.

Он чувствовал себя человеком, которому дали в руки воду, уходящую сквозь пальцы. Он гладил её тонкие, беззащитные ключицы, ловил пересохшими губами её сбитое дыхание и боялся сделать хоть одно грубое, неосторожное движение.

А она обнимала его с такой отчаянной, глухой женской силой, словно пыталась спрятать его в себе — насовсем укрыть от того грузовика, что уже ждал их на утреннем плацу.

Акация за окном всю ночь слепо скреблась сухими ветками в стекло.

Под самое утро, когда в кабинете стало сизо от рассвета и влажная кожа начала остывать, она прижалась ртом к его плечу и попросила: «Вернись».

Он ответил: «Я попробую». Другого слова у него не было. И она прекрасно знала это, когда просила.

Я в ту ночь глаз не сомкнул. Лежал на спине, смотрел в серый потолок и через приоткрытое окно видел единственный источник света на всю спящую часть — жёлтый квадрат за марлевой занавеской санчасти. Он не погас даже тогда, когда дневальный проорал подъём.

Утром мы надели жёсткую, ещё не обмятую форму. Сидоры были стянуты. В коридорах пахло ввевшейся сыростью, гуталином и кислым казарменным потом, но сквозь эту духоту уже пробивался с улицы горький, тревожный холод открытой земли.

У распахнутых железных ворот стоял Ерма Шарафович. Курил, глядя куда-то поверх наших бритых макушек, словно прощался с кем-то невидимым за нашими спинами. Когда мы поравнялись, молча протянул каждому по тугому кожаному подсумку.

— Фляга. Орехи. Табак. И немного хорошего коньяка. От меня лично.

— Спасибо.

— Живыми вернитесь, — отрезал прапорщик. — Остальное — пыль.

Грузовик дёрнулся, взревел и покатил по грунтовке. Часть оставалась позади — серый бетонный забор, столбы пыли и сухая фигура прапорщика у ворот делались всё меньше и меньше, пока не растворились в мареве окончательно.

Я развязал подсумок, достал пачку табака, повертел в пальцах. Затем вытащил плоскую фляжку с коньяком.

— Нам не надо, — сказал я Саше. — А пацанам в кузове нужнее будет.

На первом же перевале, когда колонна встала, я молча сгрузил курево и коньяк солдатам из соседнего борта. Саша только удовлетворённо усмехнулся:

— Правильно, брат. У нас с тобой другой уговор. На трезвую голову память дольше держится.

Дальше ехали в глухом молчании. Железный борт грузовика безжалостно грохотал на выбоинах, мелкая рыжая пыль забивалась в глотки, солнце нещадно палило сквозь выцветший брезент.

На втором часу тряски Саша уснул сидя, запрокинув голову к железной дуге — в точности так же, как когда-то в утреннем ленинградском трамвае, после нашей смены на хлебозаводе. Только тогда его ладонь была туго замотана моим окровавленным платком, а теперь на нём сидела форма, и трясло в сотню раз сильнее.

Я молча придвинулся ближе. Подставил плечо, чтобы ему было на что опереться, и так держал его всю оставшуюся дорогу.

Глава 8. Афганистан. Порог

Когда с лязгом откинулась аппарель борта и внутрь хлынул свет, я на секунду ослеп.

А потом пришёл воздух. В Кулябе солнце било как из раскалённой печи, а здесь воздух оказался мёртвым. Он не грел — он высушивал. Первый же вдох ободрал гортань. Пахло жжёным металлом, сгоревшей соляжкой и ещё чем-то тяжёлым, чему я не сразу нашёл имя. Так пахнет земля, которую слишком долго убивают. Пыль, перетёртая с порохом и камнем.

Ни ветра. Ни прохлады. Только выцветшее, белое небо и тишина, от которой звенело в перепонках.

— Прибыли, — глухо бросил старший лейтенант у трапа.

Глаза у него были воспалённые, красные от недосыпа, кожа на скулах потрескалась, как старая глина.

— Головой не вертеть. Из колонны не выходить. Чужого с земли не поднимать.

Мы сошли на ребристый бетон. Я поднял глаза.

Горы нависали над нами чужие — жёлтые, голые, без единого куста. Не мои. Горы нашего Ширака были седыми, в зелёных складках, с ледяными родниками в расщелинах. А эти — сухие, выеденные солнцем добела, как старая кость. Они смотрели сверху с равнодушным молчанием.

Саша толкнул меня плечом:

— Ну что, брат? Вернёмся — будем рассказывать, как нас тут встречали хлебом-солью.

— Хлеба здесь нет, — я не отрывал взгляда от хребта. — Одна соль.

В расположение нас гнали на обшарпанном «Урале». Дорога — одно название: сплошные каменные гребни да рытвины от мин. Жёлтая пудра стояла стеной, забивая ноздри и хрустя на зубах. Сквозь это марево проступали контуры обочины: оплывшие глинобитные дувалы, остовы сгоревших машин. И дети.

Трое или четверо, босые, в грязных, выцветших халатах. Они стояли в пыли и смотрели на проходящую колонну. Глаза огромные, тёмные — без детского любопытства и без страха.

— Гляди, — Саша кивнул на обочину. — Лица, как у стариков.

— Мальчишки взрослеют с первой пулей. Мы тоже.

База оказалась не казармой — средневековой крепостью. Метровые стены из самана, горы мешков с песком, пулемётные гнёзда по углам. Внутри — брезентовые палатки, железные бочки с водой, нагретой на солнце до состояния кипятка, и длинная столовая, откуда густо тянуло вскрытым цинком, разогретой тушёнкой и прогорклым потом.

— Держитесь своих, — бросил проходящий мимо старшина, даже не сбавив шага. — Здесь не Союз. Смерть в горах не стучится. Заходит когда хочет.

Первый выход назначили на третий день. Патруль к перевалу Хуш-Руд. БТР, два «УАЗа», пятнадцать бойцов на броне, десять внутри. Я шёл со связью. Саша оставался при штабе.

Утром, на построении перед выездом, я споткнулся взглядом о лицо одного из новичков.

Смуглый парень, лет девятнадцати. Тонкая, ещё мальчишеская шея, глаза чёрные, как спелые маслины, над губой — тёмный пушок. И было в нём что-то до боли родное. Не в чертах лица, а в том, как он переминался с ноги на ногу, чуть выставив плечо, — готовый шагнуть первым.

— Откуда призывался? — спросил я, подойдя.

— Амасия. Ашот Аветисян. У меня мама в школе работает. — Он вдруг заторопился, глотая окончания и сбиваясь на родной говор. — А тебя... тебя всё село наше знает. Моя мама свечку ставила в церкви, когда ты уходил.

Амасия. Школа. Свеча в старой церкви.

Всё это было настолько далеко, что казалось выдумкой из прошлой жизни, и настолько близко, что засадило под рёбрами.

— Твои что, отмазать тебя не могли? Или в героя решил поиграть? — спросил я жёстко.

— Я за чужими спинами прятаться не стал, — он упрямо вздёрнул подбородок. — Буду служить. Как все наши.

— Здесь не служат, Ашот. Здесь живут и умирают. Держись на броне рядом со мной. Слышишь? За моей спиной.

Он торопливо кивнул. Глаза его загорелись горячей, бездумной мальчишеской радостью.

Тишина лопнула на самом перевале.

Не порвалась, а именно рухнула. Скалы сомкнулись, и первая мина легла в двадцати метрах по ходу движения. Броню подбросило, столб камней и дыма встал выше башни. Вторая ударила ближе. Третья — в обочину, и воздух мгновенно стал терпким и раскалённым, как в кузнечном горне.

— «Броня», я «Сокол», мы на Хуш-Руде, засада, дайте прикрытие! — заорал я в чёрную трубку рации и, не дожидаясь ответа в трещащем эфире, обернулся к десанту: — ВСЕ ВНИЗ! С БРОНИ!

Ашот не успел.

Осколок вошёл ему в шею, чуть ниже мочки уха — точно туда, где бьётся синяя жилка. Он не вскрикнул. Ноги у него как-то странно, мягко подогнулись, и он осел на ребристый металл брони, как садится в кресло очень уставший человек.

И посмотрел на меня.

Глаза были ещё живые, в них не было боли. В них застыло бесконечное, детское удивление.

Я швырнул тангенту и рванулся к нему, вжимаясь в металл. Прижал ладонь к пробитой шее. Кровь оказалась горячее этого адского воздуха — она била толчками, просачиваясь сквозь мои пальцы, стекая по запястью.

— Дыши. Ашот, дыши. Слышишь меня?!

Он дёрнулся. Один раз.

Тело тяжело обмякло, голова безвольно откинулась назад. Тёмный пушок над его губой шевельнулся от последнего, слабого выдоха.

И всё.

В ту же секунду удар снизу швырнул меня на камни. В плечо словно вогнали раскалённый стальной гвоздь. Небо надо мной — белое, пустое, равнодушное — дёрнулось и померкло.

Я очнулся, когда БТР на пробитых скатах влетал в ворота базы.

Саша оказался у борта прежде, чем машина успела затормозить. Он увидел залитого кровью Ашота. Увидел мои красные по локоть руки. И не задал ни единого вопроса.

— Держись, брат, — он подхватил меня под здоровое плечо. — Держись, сейчас вытащим.

В госпитальной палатке густо пахло карболкой, йодом и грязными бинтами.

Вечером я попросил у сестры бумагу. Писал левой рукой, криво, потому что правая была наглухо примотана бинтами к груди. Буквы выходили ломаными, как у первоклассника.

«Мама. Бабушка.

Не буду лгать. Здесь страшно. Сегодня убили Ашота Аветисяна, из нашего села. Его мать в школе работает. Он умер у меня на руках. Я жив, зацепило плечо. Но внутри будто что-то треснуло.

Вы учили меня не мстить. Я стараюсь. Молюсь. Крест при мне.

Ваш Арман».

Я отложил лист. Долго смотрел на второй, чистый кусок бумаги. Затем взял ручку.

«Ты, наверное, не ждёшь. Ты ни разу не ответила — ни на письма из Ленинграда, ни отсюда. Но я всё равно пишу. Потому что ночью иногда слышу твой смех — тот, из школьного двора, когда ты оборачивалась на ветру.

Сегодня погиб мальчик, младше нас с тобой. Я не могу забыть его глаза. Я не прошу ответа. И больше не жду его. Просто знай: я здесь, я жив. И я всё ещё помню тот двор».

Я аккуратно свернул оба листа вдвое. Второе письмо сунул под жёсткую казённую подушку.

Отвернулся к брезентовой стене, стиснул челюсти до скрипа и уткнулся лицом в матрас. Мужчины не плачут, но иногда соль и ярость выходят сами, выжигая всё изнутри. Я лежал не шевелясь, перемалывая эту глухую боль так, чтобы никто в битком набитой палате не услышал ни единого звука.

За брезентом кто-то крутил ручку приёмника. Искал «Маяк» сквозь треск чужих частот. На секунду в эфир прорвалась музыка — далёкая, чистая, домашняя, из той жизни, где люди гуляют по улицам и возвращаются домой, — и тут же захлебнулась в глухих статических помехах.

Глава 9. Патруль

Жара в Афгане не была погодой. Она стояла хозяйкой. Входила в тело без спроса — сквозь ткань, под веки, в самые лёгкие — и оставалась там намертво. К полудню голые камни раскалялись так, что ладонь обжигало, как о чугунную печь. Воздух дрожал над дорогой, и в этом мареве всё плыло: скалы, люди, тяжёлая броня — будто мир отражался в воде, и кто-то бросил в неё камень.

После ранения мне дали всего неделю. Но едва я смог поднять руку и удержать цевье, не стискивая зубы от боли, меня вернули в колонну. Людей не хватало.

— Поехали, — коротко бросил Саша, перетягивая ремень автомата.

За три недели в горах он высох, как местный кустарник. Лицо обветрило до черноты, скулы обтянуло жёсткой кожей. От того питерского студента с семечками, что когда-то косился в окно поезда, осталась лишь одна повадка — всегда шагать первым.

Колонна втягивалась в узкую горловину вдоль хребта. Головной БТР, два «УАЗа», сзади ещё две коробки брони. Рыжая, густая пыль клубилась за колесами и не оседала. Солнце пробивалось сквозь неё мутным, слепым бельмом.

Десант молчал. За любым изгибом дороги могло начаться всё что угодно, и каждый на броне это знал. Я сидел внутри, рация на коленях, наушник в ухе, палец на тангенте.

А правая ладонь всё ещё помнила чужую шею. То, как под пальцами билась, билась — и навсегда замерла кровь Ашота. Каждый жёсткий толчок колёс о камни отдавался в голове одним и тем же глухим стуком: почему он, а не я?

Первая очередь вспорола скалу прямо над нашими головами. Каменная крошка брызнула по металлу, как шрапнель. Вторая ударила в борт, и БТР загудел от попаданий, словно пустой чугунный котёл.

— Засада! — рявкнул механик.

Воздух лопнул. Пули шли отовсюду — визжали, с воем уходили в рикошет, высекали из базальта белые искры. Ребята сыпались с брони, намертво вжимаясь в пыль. Кто-то хрипло кричал. Кто-то уже молчал.

Я вдавил тангенту:

— «Броня», я «Сокол». Засада, сектор юго-запад. Дайте огонь!

Эфир захлебнулся треском.

Саша уже лежал за задним колесом. Лицо серое от пыли, глаза — два ледяных, точных прицела. Он бил короткими, выверенными: три патрона, пауза, три. Прикрывал тех, кто волок раненых под защиту железа.

— Арман! Ложись!

Я не успел.

Из-за валуна, метрах в сорока от нас, вынырнул человек. Чёрная борода, грязная чалма, на плече — тёмная труба гранатомёта. Он упал на одно колено. Ствол смотрел прямо на наш борт — туда, где жались мои связисты, парни, которых я знал по именам.

Я видел всё это с неестественной, пугающей чёткостью. Коричневые, узловатые пальцы на спусковой скобе. Вздвинувшаяся жилу на шее. Прищуренный левый глаз, ловящий цель. И свои собственные руки, которые вскидывали ствол автомата — медленно, тяжело, словно сквозь толщу воды.

Выстрел.

Он дёрнулся. Труба выпала и с металлическим лязгом покатилась по склону. Она гремела долго — дольше, чем падал сам человек, опрокинутый навзничь.

В ушах стоял тонкий, пронзительный звон лопнувшей струны. А внутри разверзлась пустота. Абсолютная и гулкая. Как в выстуженной комнате, из которой навсегда вынесли всю мебель.

Бой отхлынул так же внезапно, как начался. Над ущельем повисла тяжёлая, вязкая тишина с кислым привкусом сгоревшего пороха. В такой тишине становится слышно, как тикают часы на чём-то неподвижном запястье.

Пятерых раненых затащили внутрь. Трое остались на камнях. Их накрыли плащ-палатками, и ветер равнодушно трепал жёсткий брезент.

Я сидел у обочины. Автомат лежал на коленях. Руки колотила мелкая, дрянная дрожь, и я никак не мог заставить их остановиться. Странно, но я не думал ни о том, что убил, ни о том, что смерть только что прошла в сантиметре от меня. Перед глазами стоял его прищуренный левый глаз в обрамлении пыльной бороды.

Саша тяжело опустился рядом. Чиркнул спичкой, глубоко затянулся и молча протянул сигарету мне. Я взял её. Не курил ни до армии, ни в этот вечер. Просто держал меж пальцев, чувствуя сухое тепло тлеющей бумаги.

— Всё, брат. Ты сделал то, что должен был.

— Я убил человека.

— Опоздай ты на секунду — горели бы сейчас в этой коробке. Все.

Сигарета медленно истлевала. Тонкий, сизый дым тянулся вверх — единственное мирное и чистое пятно в этом перепаханном ущелье.

Вечером жгли сухую верблюжью колючку. Костёр давал быстрый, рваный свет и горько пах полыньёю. Вокруг сидели парни с лицами стариков. С одинаковыми, выпотрошенными глазами.

Мои руки наконец перестали дрожать, но гулкая пустота в груди никуда не ушла.

Напротив сидел прапорщик из местных старожилов, разменявших в горах второй год. Он ворошил угли обгорелым прутом.

— Первого всегда так. Потом отпускает.

Он подкинул сухую ветку в огонь и, не поднимая головы, добавил:

— Ты только за одно держись, парень. Как станет совсем легко убивать — вот тогда и начинай бояться.

Костёр сухо трещал. Где-то за хребтом тяжело и глухо ухнуло — не то гроза, не то ночной миномётный обстрел. Никто у огня не проронил ни слова. Но эти слова упали в меня и проросли.

Ночью я лежал на спине, глядя вверх. Земля подо мной ещё хранила дневной жар, а с гор уже спускался режущий холод. Звёзды здесь не походили на наши. Они висели низко, крупные и острые, словно осколочные пробоины в тёмном куполе.

— Господи, — прошептал я одними губами. — Если Ты ещё со мной... дай сил не потерять свет.

А под утро мне приснился Ашот.

Он был в белой рубашке — чистой, навывпуск. Стоял у нашего амасийского родника, того самого, чья вода ломит челюсть от холода. Стоял и смотрел на меня. Без укора, без боли и без прощения. Просто смотрел.

Я шагнул к нему. Но во сне между нами всегда оставалась дистанция, и сколько бы я ни шёл, расстояние не сокращалось.

Потом он повернулся и пошёл вверх по крутой улице, ни разу не оглянувшись. А я остался один в утренней, звенящей от тишины Амасии.

Я проснулся от холода. Лицо было мокрым. Небо на востоке над палатками только начало сереть. Начинался ещё один день.

Глава 10. Грех и милость

Боль не уходила.

Плечо тянуло глубоко и тупо — уже не жгло огнём, как в первые часы, а ныло ровно, тяжело, будто под ключицей поселился кто-то чужой и ворочался при каждом вдохе. К этому я начал привыкать. Человек ко всему прирастает: к жаре, к вездесущей рыжей пыли, к кислому запаху солёнки. К боли привыкаешь в последнюю очередь, но привыкаешь и к ней.

Но плечо было не главным. Главное сидело глубже, под рёбрами, *где застрял осколком вопрос, на который не было ответа: почему Ашот? Почему в первый же выход, вслепую, без единого шанса?*

Я сидел на пустом ребристом ящике из-под патронов возле госпитальной палатки. Ночь стояла тёплая, тягучая. Даже в крошечной темноте афганская земля не остывала — она отдавала дневной жар, дышала тяжело и загнанно, как больное животное.

И ещё одно не давало покоя. Засада.

Я прокручивал этот бой по секундам. Маршрут утвердили за сутки в штабе и поменяли в самый последний момент. И всё равно они нас ждали. Именно там, за слепым поворотом, в узкой горловине. Позиции были оборудованы: плоские камни сложены для упора под стволы, стреляные гильзы валялись не в куче, а с расчётом, с разных точек перекрёстного огня. Так не угадывают случайно. Так встречаются, когда знают наверняка.

Саша подошёл неслышно. Поставил на ящик алюминиевую флягу, тяжело опустился на сухую землю и привалился затылком к брезенту палатки.

Полез в карман куртки, достал смятую пачку сигарет — ту самую, из которой вчера на нервах вытащил одну в ущелье. Посмотрел на неё. А потом вдруг с яростной силой сжал кулак, превращая картон и табак в труху.

— Вчера... сам не понял, как затянулся, — сказал он хрипло, глядя перед собой. — Накрыло. Руки ходуном ходили. Гнилое дело, брат.

Он перевёл дыхание.

— Это была первая и последняя. Если дал слабинку, уступил себе — считай, уже наполовину мёртв. Больше не притронусь.

Я молча кивнул. Я знал, чего ему стоило это признать, и уважал его за то, что он не стал прятать эту слабость за оправданиями.

— Он из твоего села? — спросил Саша после долгой паузы.

— Из моего.

— Слышал, как он звал тебя братом.

— У нас в горах все друг другу родня. Кто сосед, кто сват.

— Себя жрёшь?

Я не ответил.

— Не смей, — жёстко отрезал Саша. — Ты бы лёг на ту броню вместо него, если б мог. Но здесь мы не выбираем, кому жить.

За палатками ровно, глухо бухал дизель-генератор, отсчитывая чужое время.

— Саша, — сказал я, понизив голос. — Засада.

— Что?

— Они знали маршрут. Не угадали — знали. Позиции подготовлены заранее. Это не случайность.

Он долго смотрел в афганскую ночь.

— Я тоже об этом думал, — произнёс он наконец. — Но гнал эту мысль.

— А надо не гнать. Надо думать.

— Значит, будем думать. Только не здесь и не сейчас. Сначала встань на ноги, Арман. С дыркой в плече много не навоюешь.

Я согласился. Но мысль осталась. Засела глубже осколка.

Наутро на базу прибыла новая группа. Три офицера, связист, военфельдшер — и она.

Я увидел её у штабной палатки. Невысокая, по-военному подтянутая, в новеньком хэбэ: рукава закатаны выше локтей, офицерский ремень затянут на последнюю дырку. Волосы густые, цвета воронова крыла, наглухо убраны под пилотку. Но одна непослушная прядь выбилась и легла на влажный висок — и от этой простой женской пряди посреди горной пыли что-то вдруг дрогнуло у меня внутри. Там, где я был уверен, что уже выжжено всё дотла.

Лицо смуглое, с высокими скулами. Тёмные, непроницаемые глаза, в которых таилось что-то кошачье: ледяное внимание, терпение и постоянная готовность к броску. Она не улыбалась. Смотрела на плац, на суетящихся солдат так, как смотрит человек, привыкший всё вокруг считать, запоминать и складывать в невидимые папки.

— Кто это? — спросил я у проходящего мимо сержанта.

— Особый отдел. Сафарова. Гюзель Рафиковна. — Он криво усмехнулся и сплюнул в пыль. — Татарка. С ней, брат, лучше вообще не разговаривать. Даже про погоду. Себе дороже выйдет.

Я снова посмотрел в её сторону. Наши взгляды скрестились.

Секунда. Две. Три.

Она не отвела глаз. И я не отвёл. В этой звенящей неподвижности было не только холодное служебное сканирование. Промелькнуло что-то неуловимо острое. Гюзель вдруг едва заметно сощурилась, плотнее сжала губы — словно занесла моё упрямство в свой внутренний список — и резко отвернулась, шагнув в полумрак штабной палатки.

Если в нашей части кто-то сливает маршруты на сторону — это её прямая работа. Она должна найти. А если не найдёт, значит, предатель умнее её.

Но про свои подозрения насчёт засады я ей докладывать не пошёл.

Сам не знаю почему. Может, потому, что подозрение — это ещё не улика. А может, потому, что не хотел, чтобы этот расчётливый, кошачий взгляд начал высчитывать и меня самого. Впервые за долгое время я знал нечто жизненно важное — и промолчал перед той, чья профессия обязывала её это знать.

Вечером у костра за казармами собрались почти все свободные от нарядов.

В ущелье, у крошечного огня из верблюжьей колючки, мы сидели в мёртвой тишине, потому что слов не осталось. Здесь, на базе, наоборот — говорили без умолку. Кто травил байки про дембель, кто вспоминал дом. Над плоскими шутками гоготали гораздо громче, чем они того стоили — так надрывно смеются живые, когда им нужно заглушить животный страх, чтобы не завывать в голос.

Я сидел с краю и молчал. От меня ждали какого-то слова — я читал это по их напряжённым лицам. После смерти Ашота и бойни в Хуш-Руде на меня стали смотреть иначе. Будто я прошёл какую-то черту и теперь должен им что-то важное объяснить. Но объяснять мне было нечего. Внутри стояла всё та же выстуженная, пустая комната, и чужие слова гуляли в ней, как сквозняк.

Я смотрел на пламя. Огонь не грел, лишь изредка сухо трещал, напоминая о том, что я ещё существую. Жёлтые искры срывались вверх и гасли в темноте раньше, чем я успевал проследить их путь.

К себе я уходил последним.

Уже свернув за брезентовый угол, краем глаза уловил движение. В густой тени дальней палатки стояла она. Гюзель. Абсолютно неподвижно, скрестив руки на груди. Слушала чужие разговоры у нашего костра или ждала, пока я пройду мимо — в темноте было не разобрать. Лица не видно, только влажный блеск глаз.

Я прошёл мимо. Не замедлил шага, не кивнул.

Но ночной ветер донёс её запах. Не армейский, не пыльный. Тёплый, живой, с лёгкой терпкой горечью, как у расколотой косточки абрикоса.

Этот запах я невольно унёс с собой на койку. И, лёжа на спине под провисшим потолком госпитальной палатки, глухо злился на самого себя. За то, что запомнил эту горечь. За то, что зацепился взглядом за тёмную прядь. За то, что считал секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза.

Я знал свою мужскую природу и понимал, как легко огрубевшее на войне тело тянется туда, куда запрещено идти душе.

Но я знал и другое.

Взять женщину мимоходом, поддавшись крови, тоске или одиночеству — всё равно что в спешке недопечь хлеб. И голод не утолишь, и святое тесто переведёшь, и на губах останется только привкус сырой горечи.

Не время. Не место. Не та женщина.

Я закрыл глаза и начал молиться, одними губами, как учила в детстве бабушка.

Я не просил уберечь меня от пуль. *Я просил только об одном: если мне снова придётся вскинуть автомат — пусть мой выстрел будет не от слепой ненависти, а ради спасения тех, кто стоит за моей спиной.*

А ещё просил, чтобы Ашоту там, где он теперь оказался, было не холодно и не страшно. Он был ещё совсем мальчишкой и боялся темноты. Я почему-то был в этом абсолютно уверен.

На слове «аминь» я поймал себя на мысли, что снова думаю о тёплом запахе абрикосовой косточки, который втянул в себя помимо воли.

Тогда я открыл глаза, медленно и истово перекрестился второй раз — уже против себя самого, отсекая искушение — и заставил себя уснуть.

Глава 11. Семь дней

На войне чужая земля не сортирует людей на живых и мёртвых — она переваривает всех одинаково, перетирая в пыль под глухой, равнодушной тишиной.

Посыльный прибежал рано утром. Подполковник Кутырин, Павел Егорович, ждал в штабной палатке.

На фанерном ящике лежала истёртая карта, в жестяной кружке стыл чёрный чай. Лицо комбата было серым, с той глубокой, въевшейся под кожу усталостью, какая бывает у людей, забывших, как спать раздетыми.

— В Хуш-Руде опять духи. По разведке — до двадцати стволов. Наш дозор зажали в низине, там пятеро. Рота подойти не успеет. Ваша точка ближе.

— Сколько людей дадите?

— Сколько есть. Четверо с тобой.

Я наклонился над картой. Тот самый перевал, где убили Ашота. Горы настойчиво тащили меня обратно, будто у них оставался ко мне неоплаченный счёт.

— Хачатурян. — Подполковник оторвал взгляд от фанеры и посмотрел мне в глаза. — У тебя четыре человека. Там — двадцать стволов. В долгий бой не ввязываться. Ударили, забрали пацанов и сразу отход. — Я понял. — Резерва у меня нет, — Кутырин сухо постучал костяшкой пальца по карте. — Если застрянете и ляжете там же — вытаскивать вас будет некому. Ясно?

— Есть забрать и уйти.

Мы ушли впятером. Тропа вилась узко, в один след, сыпучий камень уходил из-под подошв. Жара стискивала виски, как перетянутый кожаный ремень.

Пятерых мы вытащили. Успели в самый притык.

Я волок за разгрузку последнего, с перебитой ногой, когда сверху, со скального карниза, ударил миномёт.

Камни. Ослепительная вспышка. Гул — короткий, тупой, будто великан с размаху хлопнул плоской ладонью по воде.

А дальше — густая, провальная темнота.

Очнулся я один.

Тишина стояла такая плотная, что я слышал, как гудит кровь в моих собственных венах. Надо мной висело белое, равнодушное небо, зажатое в трещине между скал. Старая рана в плече проснулась и заныла, а в боку что-то было порвано и обжигало рёбра при каждом вдохе. Автомат отбросило взрывом — я нащупал его рядом, в пыли. Рация разбита в хлам. Нож на поясе. Фляга пуста.

Наших вокруг не было. Ни стонущих, ни мёртвых — значит, вырвались, унесли раненых, а меня в дыму и каменном крошewe списали в убитые.

По дну расщелины тянулась мутная жила ручья — едва заметная, но живая.

Так начались мои семь дней.

Воду я кипятил прямо во фляге, на крошечном костерке из сухой верблюжьей колючки. Бабушка всегда говорила: сырую воду пьют только с лютого голода и с молитвой, а лучше не ленись, вскипяти.

Я ловил всё, что шевелилось: ставил силки из ремешков, рыл ямки с наживкой из последней хлебной крошки, заваливавшейся в кармане с первого дня. На третьи сутки я поймал ящерицу. Съел её сырой. Мне не было тошно, мне было только стыдно — глубоко, по-человечески стыдно, неизвестно перед кем, за то, во что превращается человек, когда хочет выжить.

Днём я вжимался в скалу, прячась от расплавленного солнца. Ночью прижимался к валуну, который за день накапливал спасительный жар. Дни я считал ножом, оставляя глубокие зарубки на деревянном прикладе.

И молился. Не о спасении — выпрашивать себе жизнь казалось мне постыдной жадностью, когда совсем рядом, за перевалом, гнили ненайденные тела наших пацанов. Я просил об одном: не озвереть. Семь суток один на один с голым камнем — идеальное время, чтобы возненавидеть весь мир. Я чувствовал, как эта ненависть поднимается со дна, тихая, уютная, согревающая. С ней сдохнуть было бы гораздо легче. От неё я и просил меня удержаться.

На четвёртый день я начал говорить вслух. Сначала разговаривал с Ашотом. Потом с бабушкой. Потом — с той девчонкой из Амасии, чьих писем так и не дождался.

Ей я выговаривал больше всего. Спрашивал, почему она замолчала. Без особой злобы — я просто пытался сложить в уме её лицо по кусочкам. И к вечеру четвёртого дня с животным ужасом понял, что не могу собрать его целиком: помню изгиб брови, помню, как она смеялась в школьном дворе, а самого лица — нет. Война стирала её черты быстрее, чем выстуженная память успевала их удерживать.

Тогда я вытаскивал из-под тельника свой золотой крест и до боли сжимал его в кулаке, согревая металл. Возвращал себе то единственное, что ещё принадлежало мне целиком.

На седьмой день я услышал шаги.

Я намертво вжался в камень и снял автомат с предохранителя. В рожке оставалось мало патронов. Я решил твёрдо: если спускаются духи, на себя я свинец тратить не стану. Заберу, кого успею.

Камень с грохотом ушёл вниз. Ещё один. Кто-то скользил по крутой осыпи — тяжело, срываясь, не прячась.

— ...Пиху!

Я опустил ствол.

Так меня не окликали с самого раннего детства. Так орали пацаны в амасийском дворе, когда мы до одури делили очередь. Я назвал ему это глупое имя всего один раз, в питерской общаге, смеясь над собственной детской картавостью. За все пять лет он ни разу им не воспользовался. Хранил.

— Пиху! — Голос сорвался, петухом ушёл вверх. — Пиху, отзовись, сука, слышишь меня?!

Я дёрнулся, чтобы крикнуть. Не вышло. За семь суток пересохшее горло выдало только сип. Тогда я перехватил автомат за ствол и изо всех сил ударил прикладом о валун. Раз. Другой. Третий.

Он услышал.

Саша съехал по каменной сыпуче на боку, в кровь обдирая ладони, порвав форму. Я даже не успел приподняться. Он рухнул рядом на колени, вцепился мне в плечи мёртвой хваткой. Я ждал, что он сейчас заговорит — он ведь всегда находил нужные слова.

Но он не сказал ничего.

Он тряс меня за плечи, словно хотел убедиться, что я не рассыплюсь в пыль прямо у него в руках, и смотрел мне в лицо. Губы у него дёргались, кривились, а звук не шёл. И только по тому, как легко моё тело моталось в его руках, я вдруг осознал, каким невесомым стал.

Рота замерла выше, на тропе. Сверху хрипло крикнули: «Живой?!»

Саша не обернулся. Только коротко, судорожно кивнул им затылком.

— Воды, — выдавил он наконец. Всего одно слово. Чужим, каркающим голосом. — Воды дайте.

Кто-то сунул ему баклажку. Он сам отвинтил алюминиевую крышку, сам поднёс к моим запекшимся губам, бережно придерживая меня за затылок, как поят грудного ребёнка или умирающего. Его руки так колотились, что вода щедро текла мне по подбородку и шее.

— Медленно, — бормотал он. — Медленно пей, брат.

Он, живший всегда на максимальной скорости, умолял меня не спешить.

Я пил. Он смотрел на моё лицо и молчал, и только на острой скуле бешено ходил желвак.

Когда меня уложили на носилки и понесли к перевалу, он шёл рядом. Намертво вцепился в брезентовый край, хотя в этом не было никакой нужды — четверо разведчиков и так несли ровно. Но он держал.

— Семь дней, — сказал он в пустоту. — Семь.

И до самой базы не произнёс больше ни звука.

В госпитальной палатке я весил, как истощённый подросток. Кости выпирали сквозь жёлтую кожу, как стальная проволока. Обезвоживание, инфекция, надорванные связки в боку. Но военврач, светя фонариком в зрачки, сказал: глаза живые. С такими глазами с того света вытягивают.

Она пришла на вторые сутки.

В уставной форме, но с тёмным шерстяным платком, наброшенным на плечи — раньше я не видел на ней гражданских вещей. Стекланную банку Гюзель вытащила из вещмешка, уже плотно задвинув за собой полог. Села на скрипучий табурет, поставила её на тумбочку и аккуратно накрыла сложенным бинтом.

— Пей. Сама варила. — И, выдержав паузу: — Не смотри на меня так, я не отравительница. Это по уставу другим ведомствам положено.

Я слабо усмехнулся. Она — нет.

Мы молчали. За мутным окошком садилось афганское солнце, и висящая в воздухе пыль окрашивалась в густой, тревожный розовый цвет.

— Тебя искали семь суток, — её голос был ровным, как на допросе. — Я лично держала сводки. Каждое утро, как только светало, первым делом проверяла твою фамилию: нашли или не нашли.

— По долгу службы?

— По долгу службы, — отчеканила она и посмотрела мне прямо в зрачки.

Я отвёл взгляд. Взял тёплую банку, сделал глоток. Травяной отвар был вязким, горьким — и возвращал к жизни.

— Вкусно.

— Ещё бы не вкусно, — жёстко парировала она. — Человек неделю сырых ящериц жрал, ему теперь всё деликатесом кажется.

Она сама услышала, что на последнем слове её голос дрогнул, выдавая то, что она прятала за погонами, и резко замолчала.

В палатке повисла тяжёлая духота. Где-то монотонно капала вода, через две койки кто-то надсадно стонал в бреду. Я не знал, как с ней говорить, и потому молчал. Но молчать с ней было невыносимее, чем говорить.

— У тебя кто-то есть там.

Она не спрашивала. Она утверждала.

Я мог бы отмолчаться, сославшись на слабость. Но врать ей или играть в прятки я почему-то не умел. Ей одной.

— Есть.

— Пишет?

— Нет.

Она коротко кивнула, будто этот ответ идеально сошёлся с её внутренними расчётами. Резко встала. Поправила бинт на банке — абсолютно лишнее, суетливое движение, банка и так стояла надёжно, — и от этой секундной потери контроля мне стало не по себе.

— Допьёшь — стекло отдай дежурной сестре, — бросила она, не глядя на меня. — Банка моя.

Она стянула с плеч платок, скомкала, сунула в сидор и чеканным шагом направилась к выходу.

У самого брезентового полога она замерла. Оборачиваться не стала.

— Упрямец ты, Хачатурян, — бросила она в полумрак. — Там баба молчит, а ты здесь ради неё землю жрёшь и чуда ждёшь. Странные вы люди, горцы. За пустоту держитесь, а живого в упор не видите.

Она рванула брезент и вышла.

Я сидел на койке, обхватив ладонями тёплое стекло, и слушал, как её лёгкие, быстрые шаги тают на пыльном плацу. Ни разу не сбившись с ритма.

Отвар я выпил до последней капли. И пустую банку, как она и приказала, вернул сестре.

Глава 12. Тень

База жила своим глухим, размеренным ритмом.

Утренние построения, наряды, выход брони за ворота, возвращения колонн. Кто-то возвращался в кузове. Афганскую землю под подошвами сапог я теперь читал иначе: не как грунт, а как страницу, где между строк зарыто то, чего быть не должно.

Тело спасталось неохотно. Оно возвращалось ко мне по частям: сначала перестали трястись руки, потом вернулась опора в ногах, потом пришёл тяжёлый сон без бреда. Но голова заработала в полную силу раньше, чем затянулись швы. И работала она только над одним.

Две засады. Оба маршрута до последнего момента знал только узкий штабной круг. И оба раза духи не просто сидели на перевале — они ждали там, где удобнее всего запретить колонну и бить на выбор. Случайность бьёт вслепую. А здесь была рука, которая заранее видела нашу карту.

Ночью, за госпитальными палатками, где были только мы с Сашей и густая афганская темнота, я прервал молчание:

— Я думаю на разведку. Гуреев.

Майор Гуреев. Сухой, желчный, с немигающим взглядом. Через его руки стекались все донесения и прокладывались все маршруты. Он первым видел ту нитку на карте, по которой завтра пойдёт колонна.

И он был моим прямым командиром.

— Основания? — тихо спросил Саша.

— Он видит карту раньше комбата. Он ставит задачи агентуре в кишлаках, у него там свои связи, и никто их не шерстит, потому что проверять эти связи по уставу положено ему самому. Слишком всё ровно.

Саша стёр ладонью невидимую пыль с лица.

— Тонкий лёд, Пиху. Ошибёмся — нас сотрут в лагерную пыль. Особый отдел сильно не любит, когда простые сержанты играют в контрразведку.

— Значит, мы не ошибёмся.

— И как ты собрался копать под целого майора? — Саша повернулся ко мне, и в темноте блеснули его глаза. — Чем? Тангентой от рации?

— Не рацией. Мне нужен доступ. К журналу выездов. К радиоперехватам. К спискам тех, кто выходил за периметр базы и когда именно.

— И у кого ключи от этих папок?

Я не ответил сразу.

— У особого отдела, — глухо сказал я.

— У неё, — отрезал Саша.

— У неё.

Он тяжело, протяжно вздохнул.

— Пиху. Ты вообще соображаешь, что делаешь? Ты эту женщину за версту по дуге обходишь, чтобы искру не высечь, а теперь сам идёшь к ней в руки. Со всеми потрохами.

— Больше идти не к кому.

— Это ты сейчас себе говоришь *не к кому*, — произнёс Саша, глядя мне прямо в переносицу. — Или ей?

Я промолчал. Иногда мой побратим видел меня насквозь, и от этого прожектора спрятаться было труднее, чем от любого особого отдела.

Я перехватил её на следующий день у вещевого склада. Она стояла в тени брезента и молча смотрела на горы. Когда она обернулась и увидела меня, её ровная, служебная маска дала едва заметную трещину.

— Уже ходишь, Хачатурян.

— Хожу. Гюзель, мне нужна твоя помощь. Разговор — только между нами. Развернёшься сейчас и пойдёшь в штаб писать рапорт — я пойму. Но тогда мы с тобой больше не разговариваем.

Она смотрела долго. Не мигая.

— Говори.

— Мне нужно знать, кто и когда выходил ночью из расположения за последний месяц. И нужны перехваты эфира за трое суток перед обеими засадами. Хуш-Руд и перевал.

Она не вздрогнула. Ни один мускул на смуглом лице не дрогнул. Только чуть повернула голову — ровно настолько, чтобы контролировать боковым зрением пыльную дорогу к штабу за моим плечом.

— Ты хоть понимаешь, о чём просишь? Это моя работа, а не твоя. Если ты думаешь, что в части завёлся крот — ты обязан доложить. Мне. Официально, на бумаге.

— А если крот — это тот, кому докладывать?

Ветер погнал по плацу колючий мусор. Гюзель молчала.

— На кого думаешь?

— Достань бумаги — сама увидишь, сходится или нет. Я не прошу верить моему слову. Прошу — проверь вместе со мной.

— Я подумаю.

И пошла к штабу — ровным, чеканным шагом. Так ходят люди, за спинами которых неотрывно следят десятки чужих глаз.

Вечером, откидывая колючее солдатское одеяло, я нашупал под матрасом жёсткий лист, сложенный вчетверо.

Журнал выездов и нарядов за месяц. Ни единой записки, ни подписи, ни случайного росчерка. Всё было переписано мёртвыми печатными буквами, буква к букве — так выводят текст, когда смертельно боятся собственной руки.

Лист обжёг мне пальцы. Я смотрел на эти выверенные, чужие буквы и понимал: она только что шагнула за мной на минное поле. Та самая женщина, к которой мне нельзя было даже приближаться.

В тот же вечер Саше пришло письмо.

Он узнал округлый почерк на конверте раньше, чем взял его в руки. Сразу отошёл за палатку, тяжело сел на ящик и вскрыл бумагу так осторожно, будто боялся порвать что-то живое.

Слов там было от силы на три минуты чтения. Он просидел над листком полчаса.

Потом вернулся в палатку, молча лёг на сетку и сунул письмо под подушку — в точности так же, как когда-то прятал своё я.

— От неё? — спросил я в темноту.

— От неё.

— Что пишет?

— Просит, чтоб не лез вперёд батьки в пекло. — Он коротко усмехнулся. — *Пусть кто-нибудь другой хотя бы раз будет первым.*

Мы помолчали.

— А ты?

— А я первым и полезу, — сказал Саша, глядя в брезентовый потолок. — Куда ж я теперь от этого денусь.

Он аккуратно загнул край своей подушки, закрывая тему.

Я лежал и смотрел на жёлтый квадрат штабного окна за стенкой нашей палатки. Там тускло горела лампа, и по брезенту мерно, как маятник, ходила тень майора Гуреева — туда, обратно, туда, обратно.

Я смотрел на эту рваную тень и складывал против неё печатные буквы из журнала, перехваты, две изрезанные карты, два глухих поворота в ущелье.

Всё сходилось на нём. Слишком гладко сходилось.

И именно это мне не нравилось. У настоящей, грязной правды всегда торчит какой-нибудь ржавый гвоздь, за который рано или поздно цепляешься, чтобы вытащить её на свет. А здесь гвоздя не было. Ровная, идеально оштукатуренная стена, за которую ладони не зацепиться.

Об такие гладкие стены люди обычно и разбивают черепа.

Глава 13. Не тот

Журнал выездов я потрошил три ночи подряд. Под колючим одеялом, при слепом свете зажатого в зубах фонарика. Каждая строчка — дата, время, номер брони, старший колонны. Я сверял эти сухие столбики с днями засад, до рези в глазах водил пальцем по бумаге, высчитывал часы.

И моя монолитная версия начала рассыпаться в прах.

В ночь перед бойней в Хуш-Руде майор Гуреев за периметр базы не выходил. Журнал, сменные записи дежурного, отметки наряда на КПП — всё сходилось в одну мёртвую точку: разведчик спал у себя в палатке, и трое офицеров могли это подтвердить. За сутки до засады на перевале — то же самое.

Гладкая, бетонная стена. Никакого ржавого гвоздя.

Я сидел над этими листами, и первородный страх подкатывал к самому горлу. Не от того, что я пошёл по ложному следу, а от того, что настоящий предатель всё ещё дышит воздухом нашей базы. И маршрут, по которому завтра поведут на убой новую колонну, всё ещё лежит в чьём-то сейфе.

Утром я перехватил Гюзель.

— Гуреев чист. Обе ночи был здесь. Я ошибся.

Я ждал удара. Ждал, что она скажет: «Вот видишь, не лезь в чужое дело со своими сержантскими мозгами». Она не сказала. Смотрела тяжело, внимательно, будто заново меня взвешивая.

— Значит, у тебя есть стержень, — произнесла она наконец. — Другой бы мёртвой хваткой вцепился в свою версию и ломал факты через колено, лишь бы не признавать вину. А ты сам себя опроверг.

— Мне не нужен козёл отпущения. Мне нужен тот, кто сдал Ашота.

— Тогда думай дальше. Если сам не выезжал — как передавал карты?

Я промолчал. И вдруг меня словно ударило током. Я увидел то, что всё это время лежало на поверхности. Я искал утечку изнутри. Я смотрел на тех, кто выходил. А смотреть надо было на тех, кто заходил.

— Ему незачем бегать за периметр, — сказал я, чувствуя, как холодеет спина. — Зачем рисковать, если нужный человек сам приезжает к тебе? Тот, кто входит на базу законно. Тот, у кого есть допуск к штабу и право требовать любые карты. Берёт и увозит. И он абсолютно вне подозрений. Потому что он выше нас всех.

Смутное лицо Гюзель неуловимо посерело.

— Проверяющие, — выдохнула она.

— Кто приезжал из штаба округа перед обеими засадами? Кто?

Она не ответила. Но вечером молча сунула мне второй лист. Снова те же рубленые печатные буквы.

И на нём было выведено имя, от которого нам обоим стало нечем дышать.

Полковник Луговой, Виктор Аркадьевич. Штаб армии. Инспекция по боевой подготовке и связи.

Приезжал ровно за два дня до Хуш-Руда. И за трое суток — до перевала. Оба раза с полным допуском «ноль-один». Оба раза запирался с картами. И оба раза благополучно уезжал до того, как в горах начинал работать вражеский миномёт.

— Бред, — глухо сказала Гюзель. — Луговой прошёл Афган с самого первого дня ввода. Кавалер ордена Красной Звезды. Его в округе считают легендой.

— Именно поэтому. Кто в здравом уме посмеет проверять героя?

Я вспомнил его. Видел мельком, на плацу, ещё до своего ранения. Высокий, седоватый, спина прямая, как шомпол. Жал руки пыльным бойцам, шутил, помнил лица и имена сержантов. *Я тогда ещё сдуру подумал: вот бы все штабные были из такого теста.*

Теперь эта мысль стояла у меня поперёк горла ржавым лезвием.

— Ты хоть осознаёшь, на кого мы пасть открываем? — Она говорила одними губами. — Это не местный майор. Это штаб армии. Если мы промахнёмся — нас даже разжаловать не станут. Нас закопают. Спишут на боевые потери.

— А если заткнёмся — сколько ещё рот он положит в ущельях?

Она смотрела на меня. И в её кошачьих глазах я увидел то, чего раньше там не было. Не устав. Не страх за свои погоны. Страх за меня.

— Ты не отступишься.

— Нет.

— Почему?

Я помолчал.

— Ашот, — сказал я жёстко. — И те трое под плащ-палатками. И те пятеро, которых я волок из ложбины. Они не выбирали, где им лечь. За них этот выбор сделал кто-то другой — за деньги, за чины, за чеки. Этого я проглотить не могу.

Гюзель отвернулась. Долго смотрела на горы, наливающиеся густой вечерней кровью.

— Значит, нужны железные доказательства, — произнесла она. *Уже не «тебе нужны».* Нам. — Журналов мало, это косвенные. Луговой отобьётся от бумаг одним звонком наверх. Будем брать на передаче. С поличным. Только за руку.

Я смотрел на неё — тонкую женщину в офицерском хэбэ, которая только что перешагнула черту. Из безопасной системы — в наше доблестное, партизанское дело.

— Ты со мной?

— Я с тобой.

Она резко развернулась и зашагала к штабу, больше не оглядываясь.

Ночью я выложил всё Саше. Шёпотом, плотно задвинув брезент.

— Луговой? — Он беззвучно присвистнул. — Уверен, Пиху? Это уже прыжок без парашюта.

— Почти уверен. Осталось взять на месте. Приедет со следующей инспекцией — выйдет на передачу. Не по рации, это слишком легко засечь. Лично. Ночью. Передаст тому, кто уходит за периметр к духам. Там и накроем.

— Живым, — утвердительно сказал Саша.

— Только живым. Мёртвый полковник — это павший герой и траур на весь Союз. Живой, с секретными картами на кармане — это предатель.

— А если не дастся?

Я посмотрел в чёрный потолок.

— Сделаем так, чтобы у него не было выбора.

Саша долго молчал. Пожевал губу. А потом сказал — совсем не про полковника:

— Ты ведь эту удавку ей на шею сам накинул. Гюзель. Осознаёшь?

— Осознаю.

— Ни хрена ты не осознаёшь, — отрезал он тихо и тяжело отвернулся к брезентовой стене.

Я лежал на спине. Слушал, как ночной сквозняк гонит мелкий песок по камням за палаткой. Где-то за перевалом глухо, размеренно ухнуло — раз, другой. Война не собиралась спать. Она вообще здесь никогда не спала.

А я прокручивал в голове секунды будущего захвата. Место. Время. Сектора. Тени. Как он выйдет, откуда мы ударим, что скажем. Я прогнал эту сцену столько раз, что видел её с закрытыми глазами.

И с удивлением поймал себя на мысли, что страха больше нет. Есть только холодный, спрессованный расчёт. И в ту ночь я уснул мёртвым, спокойным сном.

Глава 14. Секунда

Луговой приехал через девять дней.

Я узнал об этом рано утром от Гюзель, поймав её взгляд через весь плац. *Она коротко, двумя пальцами поправила портупею: наш условный знак. Он на базе.*

Полковник провёл в части весь световой день. Вёл себя как обычно: широкая, открытая улыбка, крепкие рукопожатия, дежурные шутки со старослужащими. В штабе перед ним выложили на столы свежие карты, сводки, схемы связи. Он вникал, кивал, что-то помечал в кожаном блокноте золотым пером. Свой в доску. Ничей не враг. Настоящий батя.

Я наблюдал за ним издали, из-за угла казармы, и внутри всё звенело, как перетянутый стальной трос.

Ближе к ужину Гюзель, проходя мимо курилки, шепнула одними губами:

— Остаётся ночевать. Утром отбывает в округ. Если пойдёт на передачу — значит, сегодня.

Наш план был прост, а потому надёжен. Сложные схемы сыплются первыми. Гюзель подняла старые наряды: в прошлые приезды полковника за периметр ночью всегда уходил один и тот же человек — прапорщик Ким из хоззвода. По бумагам — договариваться о провизии с местными. На деле — идеальный, тихий, незаметный курьер. Та самая рука, которая выносила смерть, принесённую полковником.

Место передачи — старая, заброшенная глинобитная кошара за складами ГСМ, у самого края базы. Туда Ким обычно и возвращался.

— Возьмём обоих, — я расчертил прутиком схему на песке. — Лугового — в момент передачи бумаги. Ким пойдёт как свидетель, он со страху сдаст полковника с потрохами, чтобы спасти свою шкуру. Наша главная задача — взять Лугового с картами прямо в руках.

— Как распределимся? — Саша смотрел на схему.

— Я внутри, за перегородкой из кирпича. Ближе всех. Ты — за стеной, у пролома. Если что-то идёт не так, входишь без команды. Гюзель снаружи, у входа. Страхует и фиксирует. Она — единственный свидетель при погонах. Без её рапорта это просто слова двух сержантов против полковника.

— Опасно оставлять её у входа. Если он пойдёт на прорыв...

— Знаю. — Я стёр схему подошвой. — Но она не уйдёт. Я пытался.

— Ещё одно, — Гюзель понизила голос. — Пост у складов на эту ночь я снимаю. Скажу дежурному, что там работает особый отдел, чтобы носа не совали. Иначе на любой шум сбегится караул.

— А вышки?

— Часовые на вышках смотрят наружу, в горы. Внутри им смотреть не положено по уставу.

Ночь навалилась безлунная, густая. Горы растворились во мраке, только над разбитой крышей кошары стили крупные, равнодушные афганские звёзды. Внутри густо пахло старым овечьим навозом, сухой пылью и сырой глиной.

Я сидел на корточках за остатками перегородки, не шевелясь уже больше часа. Автомат заброшен за спину, пистолет в руке — тяжёлый, нагретый от ладони. Дышал медленно, открытым ртом, чтобы не шуметь ноздрями.

За стеной, у пролома, растворился Саша. Я его не видел, но физически чувствовал, что он там. Как тогда, на мыльном кафеле кулябской бани, чувствовал его лопатки своими.

Гюзель стояла снаружи. Её я не видел тоже и не чувствовал. И это грызло меня сильнее всего.

Шаги.

Один человек. Шёл осторожно, стараясь не звенеть камнями. Ким. Он скользнул внутрь, замер у стены, долго прислушивался. Потом опустился на корточки и закурил в кулак, пряча тлеющий огонёк. Ждал.

Минут через двадцать послышались вторые шаги. Уверенные, размеренные, тяжёлые. Так ступает хозяин.

Луговой.

Он вошёл в кошару, и даже в темноте угадывалась его идеальная, офицерская выправка. Ким торопливо поднялся.

— Товарищ полковник.

— Тихо. — Голос у Лугового был низким, ровным. — Принёс?

— Никак нет. Я принимаю. Вы передаёте.

— Верно. Держи.

Сухо зашуршала бумага. Луговой протянул прапорщику сложенные листы. Я смотрел из-за кирпичей, почти не моргая. *Вот оно. Оперативная карта. Из рук штаба — в руки курьера. Достаточно.*

Я поднялся. Бесшумно, перекатом, как учил Пак в подвале за фанерной дверью.

— Стоять. Не двигаться. Обоим.

Ким дёрнулся, как от удара током, и окаменел. Бумаги выскользнули из его пальцев и легли белым, слепым пятном на земляной пол.

Луговой даже не вздрогнул. Он не стал метаться. Медленно, будто нехотя, обернулся на мой голос.

— Это кто тут у нас такой борзый? — произнёс он абсолютно спокойно, с лёгкой ленцой. — Сержант. Разведрота. Хачатурян, если не ошибаюсь. Герой Хуш-Руда. — Он коротко усмехнулся. — Мальчик, ты хоть осознаёшь, куда влез со своими игрушками? Опустит ствол. Сейчас же. И, возможно, я к утру забуду, что тебя здесь видел.

— Руки вверх. Оба, — сказал я ровно. — Ким, два шага назад. К стене.

Прапорщик шарахнулся, влипая в глину.

— Дурак, — с искренним сожалением вздохнул полковник. — Какой же ты клинический дурак, сержант. — Он чуть повёл плечами. — Ты тут один? Или привёл кого-то на убой?

И в эту секунду снаружи раздался шорох. Гюзель.

Она шагнула в тёмный проём — то ли чтобы зафиксировать задержание, то ли просто не выдержали нервы. Её тонкий силуэт на мгновение обозначился на фоне чуть более светлого неба.

Луговой уловил это движение.

И дальше всё произошло быстрее, чем работает мысль. Быстрее любого расчёта.

Полковник рванулся не ко мне, не к выходу — он бросился на неё. Одним текучим, кошачьим, профессионально отработанным движением он оказался сбоку от Гюзель.левой рукой намертво перехватил её поперёк груди, рванув на себя, как живой щит. А правая рука уже нырнула под китель, к расстёгнутой кобуре.

Гюзель коротко, сдавленно вскрикнула.

Тёмный ствол Макарова пошёл вверх. Не в мою сторону. В её висок.

«Братъ живым». Мысль ещё билась в моём мозгу, но руки уже действовали сами по себе.

Я выстрелил.

Один раз.

Жёлтая вспышка на долю секунды выхватила из темноты искажённое лицо Лугового и расширенные от ужаса глаза Гюзель. Грохот ударил по перепонкам, отскочил от глиняных стен и увяз в них. Снаружи была обычная афганская ночь: где-то за горизонтом, как всегда, лениво постреливали, и один сухой хлопок в районе пустых складов не поднял никого.

Луговой дёрнулся. Рука с пистолетом безвольно упала. Хватка ослабла, Гюзель с глухим стоном вырвалась, отшатнулась и рухнула на колени.

Полковник посмотрел на меня. Девятимиллиметровая пуля вошла ему точно под ключицу, пробив лёгкое.

В его глазах не было боли. Только абсолютное, глухое непонимание. С ним такого не должно было случиться. И уж точно не от руки какого-то срочника в вонючем сарае.

Он медленно осел на утопанную землю. И затих.

Тишина.

Саша ворвался через пролом с автоматом наизготовку — ровно на секунду позже, чем всё закончилось. Замер. Окинул взглядом пол, тело, меня. Метнулся к Киму. Прапорщик стоял, размазанный по стене, белый как мел, и только тряся, повторяя как заведённый:

— Я ни при чём... я только носил... мне приказали... я ни при чём...

Я не слушал его. Бросил пистолет в пыль, кинулся к Гюзель. Поднял её с колен, сжал плечи.

— Цела? Куда он тебя ударил? Гюзель!

— Цела, — выдохнула она сорванным шёпотом. Её колотило. — Я целая...

Она смотрела на меня снизу вверх. Её пальцы вцепились в мою куртку с такой силой, что я чувствовал её ногти сквозь жёсткую ткань. В этой судорожной хватке было всё сразу: животный ужас, облегчение и то третье, чему мы оба никогда не давали имени.

Я медленно разжал её руки. Поднялся. Подошёл к телу.

Саша щёлкнул фонариком. В узком жёлтом луче стало видно всё. Из внутреннего кармана кителя торчала записная книжка с датами и позывными. В боковом — толстая пачка афгани, стянутая банковской резинкой. А на земле, там, где их выронил Ким, лежали тетрадные листы. Подробная схема движения нашей колонны, которая должна была выйти за ворота через двое суток.

Улик было столько, что хватило бы на три трибунала.

Я смотрел на мёртвого полковника. На его благородную седину, на прямую даже в смерти спину, на блестящее золотое перо, торчащее из кармана. Я не испытывал ни торжества, ни радости. Я не хотел его убивать. Я должен был взять его живым.

Но между моим идеальным планом и виском Гюзель оставалась ровно одна секунда. И в эту секунду выбирал не я. Выбрала рука. И правда заключалась в том, что я выстрелил бы снова. Чтобы она дышала.

— Ты не мог иначе, брат, — глухо сказал Саша, встав у меня за плечом. — Он бы её грохнул. Ещё полсекунды — и разнёс бы ей голову.

— Знаю.

Но легче от этого знания не стало.

Я аккуратно, за самый край, поднял бумаги с пола. Собрал карту, книжку, деньги.

— Ким, — сказал я, не оборачиваясь. — Ты напишешь всё. Как получал. Сколько раз. Кому за реку передавал. Каждую мелочь. И тогда, возможно, особый отдел сохранит тебе жизнь.

— Напишу, — прохрипел Ким, сползая по стене на корточки. — Всё напишу. Мамой клянусь, всё расскажу.

За пробитой крышей кошары начинало сереть небо. Где-то далеко, за хребтом, прокричала птица — тонко, пронзительно, одиноко. Ночь заканчивалась.

Гюзель стояла у выхода из кошары. Смотрела на меня. Я чувствовал этот тяжёлый, тёплый, не отпускающий взгляд спиной. Между лопаток.

Я не обернулся.

Глава 15. Начальник разведки

Ким вывернул себя наизнанку за одну ночь.

Говорил взахлёб, глотая слова, сбиваясь и повторяя одно и то же, будто боялся не успеть выговорить свою жизнь. Сдавал схемы, даты, точные суммы. Называл тайники, где оставлял карты для ушедшего в горы связного. Он выкладывал даже то, о чём его не спрашивали — лишь бы дышать дальше.

Особисты писали, не поднимая голов. Гюзель сидела в углу. Бледная, спина прямая, как стальной шомпол, но пальцы так вцепились в кожаную планшетку, что костяшки просвечивали белым.

Через три дня на базу прилетел вертолёт с окружной комиссией. Ещё через неделю всё было кончено. Полковник Луговой, кавалер орденов, посмертно перестал быть героем. О нём не писали некрологов в окружных газетах — такое не печатают. Его стёрли. Тихо, канцелярским ластиком, как вымарывают грубую ошибку из чистовика.

Так система прятала свои провалы. Ей не нужны были показательные трибуналы над теми, кого ещё вчера носили на руках. Если позор нельзя было залить правильными газетными словами, его просто цементировали глухим молчанием. Дело Лугового наглухо заперли в спецхране. Предателя не стали судить прилюдно — его превратили в государственную тайну, чтобы не марать идеальный фасад армии.

А моё имя, наоборот, зазвучало громко.

Меня вызвали в штаб. Подполковник Кутырин долго молчал. Смотрел из-под насупленных бровей тяжёлым, цепким взглядом — так смотрят на сапёра, который только что голыми руками снял мину с неизвлекаемым взрывателем.

— Ты понимаешь, старшина, что ты наделал? — произнёс он наконец. — Ты вскрыл гнойник, который вся контрразведка округа не могла нащупать. Годами сливали маршруты. А ты взял его за месяц. С ротным хозяйством на горбу и без единого допуска к секретке.

— Я был не один, товарищ подполковник, — ответил я ровно. — Лейтенант Сафарова. Сержант Жданов.

— Знаю. Я всё знаю. Но голова была твоя.

Кутырин с шумом отодвинул стул, встал и прошёлся по палатке.

— Приказ уже на подписи. Майор Гуреев переводится в Союз — сам видишь, не тянет он здешнюю разведку. На его место я ставлю тебя. Должность — начальник разведки части. И звание. Твой красный диплом инженера и военная кафедра позволяют. Получишь старшего лейтенанта. Сразу.

Он остановился напротив.

— Я таких бумаг за всю свою службу ни на кого не подписывал.

Я молчал. Машинально прикидывал в уме, сколько сержантских лычек нужно спороть с погон, сколько звёзд пробивать вместо них, и на кого в роте теперь нужно посмотреть, чтобы понять, как этот вес носят на плечах.

— Служу Советскому Союзу, — сказал я глухо.

— Служишь, — коротко усмехнулся комбат. — Я тебе перед выходом говорил: мёртвые герои мне без надобности, мне живые нужны. — Он хлопнул ладонью по картонной папке. — А ты и то, и другое ухитрился провернуть. Ох, Хачатурян. Вырастет из тебя что-то огромное. Если не убьют раньше.

База приняла новость по-своему.

Из учебки с оказией пришло письмо от Вардана. Всего одна строчка: *«Мы всегда знали, что ты — первый»*. А те суровые мужики, что сидели со мной у ночного костра, теперь здоровались иначе. Не козыряли по уставу, а коротко, весомо кивали. С той особой, тихой почтительностью, которую невозможно выслужить сроком или погонами. Её дают только тем, кто вытаскивает чужих сыновей из простреливаемых ложбин.

Гюзель изменилась.

Это сквозило во всём. В том, как она входила в штабную палатку, когда я был там — её чеканный шаг на долю секунды сбивался. Как она молча клала на мой стол оперативные сводки, и её пальцы задерживались на серой бумаге на мгновение дольше положенного. Как она смотрела на меня, когда думала, что я уткнулся в карты — тяжело, незащитно, напрочь забыв про устав и глухой воротник.

Один раз, перебирая документы, она бросила в сторону, не глядя мне в глаза:

— Теперь ты старше меня по званию, товарищ старший лейтенант. Жаловаться мне на тебя стало некому.

И коротко рассмеялась. Но в этом смехе было *столько сухости, что стало трудно сглотнуть*.

Я видел всё это. И намертво держал границу. Ровно, непреклонно, не отталкивая её, но и не делая ни единого шага навстречу. Как держат в ладонях кусок раскалённого металла, зная, что если сожмёшь пальцы — сожжёшь мясо до кости.

Письмо от матери нашло меня в конце месяца.

Я узнал этот конверт из дешёвой бумаги сразу. Крупные, старательные буквы, выведенные рукой человека, который берётся за ручку редко и оттого пишет с сильным нажимом.

«Сынок мой, Арман джан.

Пишу тебе с хорошими вестями — а то ты, небось, думаешь, что твоя мать только и умеет, что плакать да молиться. Молюсь-то я крепко, это правда. Каждое утро, каждый вечер. И крест твой поминаю, что ты его на себе носишь.

А новость у нас такая. Помнишь тот пустой участок у старого ореха, за нижней улицей, где мы с тобой весной алычу собирали? Так вот — отдали его нам. От сельсовета, с печатью, всё честь по чести. Директор школы похлопотал, дай бог ему здоровья. Теперь это земля наша. Своя.

Я как бумагу в руки взяла — пошла туда, села прямо под орехом на траву и сидела до самого заката. Всё про тебя думала. Как ты вернёшься, как мы с тобой дом поставим — настоящий, высокий, из туфа, не то что наша старая халупа.

И ещё. Бабушка твоя прихворнула было зимой, я тебе не писала, чтоб сердце не рвать. Но встала. Крепкая она у нас, чистый кремень. Снова хлеб печёт, снова ворчит на всех и молится за тебя так истово, будто за край одежды Господа ухватилась и не отпускает, пока своего не выпросит. Говорит: «Мой Арман вернётся. Я знаю. Я его сама отмолю».

Береги себя, родной. Не лезь под пули. Хотя кого я прошу — ты же у меня с малолетства везде первым лезешь. Только вернись. Живой вернись. А остальное мы своими руками построим.

Целую тебя крепко. Мама».

Я сидел на своей койке очень долго. Прочитал письмо. Потом ещё раз. И ещё. Про Ашота она не обронила ни единого слова. Значит, всё село уже знало. И она знала. Но не стала вкладывать чужую смерть в конверт. Оставила это горе там, в Амасии, чтобы сбересть меня здесь.

Участок у старого ореха. Своя земля. Дом — каменный, настоящий.

Вот оно. Вот ради чего это всё. Я служил в разведке, ходил под свинцом, глотал ту же афганскую пыль, что и все, — но своих денег принципиально не касался. Офицерское жалованье, боевые, надбавки за выходы — всё до копейки ложилось в плотный почтовый конверт. Этот конверт хранился на самом дне моего железного сейфа в канцелярии, под стопкой секретных карт. Я не пил. Не играл в карты. Не спускал чеки в дуканах на барахло, которое дембеля волокли в Союз. Всё шло туда. Для матери. Для бабушки. Для фундамента под старым орехом.

Я закрыл глаза и отчётливо представил его. Каменный, светлый, с большими окнами, смотрящими в долину. Просторный двор. Густая тень от дерева. Мать, стоящая на пороге с полотенцем в руках. Бабушка у горячего тонира.

И вода. Та самая, ледяная, ломающая зубы вода из нашего амасийского родника, которую можно будет наконец-то пить каждый день, а не судорожно вспоминать во сне.

— От матери? — неслышно подошёл Саша.

— От матери. — Я бережно свернул лист по сгибам и спрятал во внутренний карман, поближе к сердцу. — Землю дали. Под дом.

— Значит, строить будем, Пиху.

— Будем, — выдохнул я.

И вдруг улыбнулся. Широко, искренне, во всё лицо — так, как не улыбался со времён ленинградского вокзала.

За штабной палаткой медленно садилось раскалённое солнце. Горы — чужие, жёлтые, изъеденные войной — наливались тяжёлым закатным багрянцем.

Но я смотрел сквозь них. Я видел совершенно другие горы. Седые, древние, в мягких зелёных складках. И старое село в этой складке, где под раскидистым орехом теперь лежала моя собственная земля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.